

Отсутствующая структура. Введение в семиологию

Автор:

Умберто Эко

Отсутствующая структура. Введение в семиологию

Умберто Эко

Мировую славу Умберто Эко получил после выхода романа «Имя розы» (1980), ставшего классикой. В академической среде фигура Эко не менее масштабна. Выдающийся семиолог, медиевист, культуролог, почетный профессор многих университетов Умберто Эко рассматривал общие проблемы семиотики, взаимоотношение семиотики и психоанализа в сфере архитектуры, кино, современной живописи, музыки, рекламы. В числе работ итальянского исследователя – десятки научных трудов, новелл, сказок, философских трактатов. «Отсутствующая структура» – одно из самых знаменитых произведений Эко-ученого.

Умберто Эко

Отсутствующая структура. Введение в семиологию

UMBERTO ECO

LA STRUTTURA ASSENTE

INTRODUZIONE ALLA RICERCA SEMIOLOGICA

Перевод с итальянского Веры Резник и Александра Погоняйло

Published by arrangement with ELKOST Intl. Literary Agency

© 2016 La nave di Teseo editore, Milano

© В. Резник, перевод на русский язык, 2006

© А. Погоняйло, перевод на русский язык, 2006

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019

Издательство CORPUS ®

Предисловие

1. Размышления 1980

Настоящее издание «Отсутствующей структуры» выходит в свет через двенадцать лет после первого. Слишком долгий срок для книги, написанной под влиянием дискуссий того времени: с тех пор многое изменилось, заметные перемены произошли и в наших взглядах. Слишком долгий срок, если принять во внимание, что вышедшая в 1968 году книга была постепенно заново переписана на добрую половину в связи с подготовкой переводов, которые, естественно, отличались от настоящего издания. К тому же в 1971 году я опубликовал исследование «Формы содержания», частично, а местами значительно,

переработав настоящий текст, а в 1975 году упорный труд над подготовкой английского (также расширенного) издания «Отсутствующей структуры» закончился тем, что я сдал в печать «Трактат по общей семиотике», который, трактуя проблемы, поставленные в этой книге, и не отказываясь от некоторых выводов, все же представляет собой совершенно новую работу.

Итак, читатель вправе спросить: с какой стати книга переиздается без каких-либо изменений, если автор сам считает ее в значительной мере устаревшей?

Я мог бы на это ответить, что у книготорговцев и у публики она еще пользуется спросом, и в этой серии уже переизданы другие мои старые книги, такие как «Открытое произведение» и «Устрашенные и сплоченные». Кроме того, в данной серии (*collana economica*), как правило, переиздаются книги, служащие справочными изданиями и напоминающие о спорах минувших лет.

Но можно ответить и по-другому: в книге есть разделы, которыми, несмотря на имеющиеся в них ошибочные оценки, я и по сей день доволен: мне удалось разглядеть то, что нас ждет. В частности, сегодня я написал бы по-другому раздел Г, в котором обсуждаются философские основы структурализма, – в нем я, кажется, подметил некие тенденции, впоследствии получившие развитие: распад структурализма как онтологии, рождение неоницшеанства, его смычка с марксизмом, явление постлакановского маньеризма, новых философов, отрекающихся от столь характерных для структуралистского дискурса просветительских иллюзий; я уж не говорю об общем «откате от структурализма», потому что мне это выражение не нравится, оно неопределенное, двусмысленное и часто столь же неадекватное, сколь и выражение «кризис разума», – однако о многом из того, на что сегодня навешиваются эти ярлыки, шла речь на этих страницах: они о многом предупреждали. Возможно, мои установки были неверными, что меня не радует, но я оказался прав, и это меня радует еще меньше. Впрочем, эти два неудовольствия все же доставляют мне некоторое удовлетворение.

Но пойдем по порядку. Между 1962 и 1965 годами, когда я готовил к публикации французское издание «Открытого произведения» (см. введение к последнему изданию книги в этой же серии), мое отношение к проблемам коммуникации претерпело значительные изменения: если вначале я опирался на теорию информации и англосаксонские исследования по семантике, то позже мне сделали ближе структурная лингвистика и русский формализм. В 1964 году Барт опубликовал в 4-м номере «Коммюникасьон» свои «Начала семиологии».

Мне кажется уместным напомнить здесь о том, чем стал для всех нас, интересующихся семиотикой, этот короткий, намеренно непритязательный и, в сущности, компилятивный текст, – ведь он подтолкнул нас к выработке собственных представлений о знаковых системах и коммуникативных процессах, между тем как сам Барт все более отдалялся от чистой теории. Но, не будь этой книги Барта, удалось бы сделать значительно меньше.

В 1967 году я преподавал теорию визуальных коммуникаций на архитектурном факультете во Флоренции, так сложился курс визуальной семиологии, посвященный, естественно, коммуникативному аспекту архитектуры, и в нем были развиты некоторые идеи, возникшие у меня годом ранее во время летних чтений в Бразилии. Выдержки из него я решил опубликовать. Студенческое движение протеста тогда еще не набрало силы, но мне показалось неэтичным делать ротاپринтную публикацию, которая могла обойтись студентам достаточно дорого, в то время как я оказался бы с прибылью. Я договорился с «Бомпьяни» о напечатании нескольких сотен экземпляров без права продажи – исключительно для распространения среди флорентийских студентов по цене, возмещающей типографские издержки. После оплаты типографской и переплетной работ цена издания оказалась ниже обычной.

Книга называлась «Заметки по семиологии визуальных коммуникаций» и насчитывала двести страниц, включая те разделы, которые сейчас содержатся в «Отсутствующей структуре» под пунктами А, Б и В. Целями, которые я ставил перед собой в «Заметках», можно объяснить недостатки настоящей книги. Теоретическая часть была исключительно вводного порядка, предназначалась для студентов, не очень разбирающихся в современной лингвистике, и имела компилятивный и нетворческий характер, поэтому сейчас она кажется мне наиболее устаревшей, и фактически я ее постепенно переработал в процессе подготовки всех иностранных изданий, включая «Трактат». Напротив, разделы Б (об иконических знаках) и В (об архитектуре) – мой личный вклад. В разделе Б я впервые подвергаю радикальной критике понятие иконического сходства, в дальнейшем после некоторых исправлений и дополнений этот текст лег в основу разработанной в «Трактате» теории способов производства знаков. Но сколь бы ни были опрометчивы мои тогдашние резоны, они вызвали множество споров, особенно среди теоретиков семиологии кино (участников недавних встреч в Пезаро 1967: делла Вольпе, Пазолини, Метца, Гаррони и др.). Так или иначе, но именно часть, посвященная кинематографическим кодам, по сей день повсеместно переводится, и я ее регулярно встречаю в разного рода антологиях и хрестоматиях. В разделе В я разрабатывал принципы семиотического подхода к архитектуре, которые сегодня мне кажутся безошибочными, однако я все

оставил как есть, и этот текст также постоянно переиздается если и не как актуальное исследование, то, по крайней мере, как документ, положивший начало некоему дискурсу (см., например, недавно вышедшую английскую антологию *Signs, Symbols and Architecture*, под ред. G. Broadbent, R. Bunt и Ch. Jenks. London; Wiley, 1980).

Итак, книга, как было сказано, в продажу не поступала. Но, поскольку я разослал несколько экземпляров своим коллегам, появилось несколько рецензий и ее стали спрашивать в книжных магазинах. Так, например, Пазолини написал пылкое опровержение («Код кодов», позже опубликовано в «Ереси эмпиризма»), выразив надежду, что текст сделается доступен не только флорентийским студентам, в связи с чем последовало предложение эту книгу издать. Естественно, мне захотелось включить в нее новые материалы, и двести страниц превратились в четыреста.

В чем же отличие «Отсутствующей структуры» от «Заметок»? В том, что дискуссия, поначалу предполагавшая (в разделе В) разработку семиотики архитектуры, постепенно переросла в дискуссию об отношениях между задачами семиологического (или семиотического) исследования и структуралистской методологии. Достаточно указать на то, что центральным в книге становится раздел Г, чем и объясняется появление термина «структура» в заглавии и перемещение слова «семиология» в подзаголовок.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что сам замысел был непосилен. С одной стороны, меня интересовали общие принципы семиологического анализа, и я понимал, что такое исследование, хотя и обязано иметь в виду все последние достижения в области структурной лингвистики и антропологии, все же представляет собой нечто иное. В «Трактате» с этой проблемой покончено, она перестает существовать как проблема. Но в те времена, в 1967–1968 годах, не так-то легко было понять, чем отличается семиология от структурализма. Тогда еще не было ясно, что первая, если и не составляла науки или монолитной дисциплины, во всяком случае обеспечивала принципиальный подход к объекту, безразлично какому, СУЩЕСТВУЮЩЕМУ или ПОСТУЛИРУЕМОМУ. Тогда как второй представлял собой метод изучения тех или иных объектов.

Но чем объяснить столь частое отождествление «науки о знаках» (мы используем термин «наука» в самом широком и неопределенном смысле) и структурного метода? Конечно, прежде всего тем, что именно во Франции структурная лингвистика в то время больше всего стимулировала развитие

науки о знаках. Но отчего эти чисто внешние обстоятельства, которые можно назвать культурным поветрием, так долго укрывали от нас истину, в то время как в творчестве Якобсона, например, уже явственно ощущалась большая гибкость, позволявшая вводить в семиотический дискурс неструктуралистские элементы, например элементы теории Пирса?

Дело в том, что как раз во Франции, как мне кажется, и возобладало желание скрыть тот факт, что структурализм – это метод, и очень плодотворный, выдав его – более или менее осознанно – за некую философию, видение мира, онтологию.

Так ли это? Ответ на этот вопрос содержится в разделе Г «Отсутствующей структуры». Изучение работ Леви-Стросса убедило меня в том, что соблазн онтологизма ощущается во всех его произведениях, хотя, возможно, я был слишком несправедливо подозрителен по отношению к Леви-Строссу. Впрочем, совершенно очевидно, сколь многим я обязан критикуемому мной мышлению. Появившиеся тогда исследования Деррида и Фуко (Делез еще не опубликовал своего «Различия и повторения») побудили меня засвидетельствовать рождение постструктурализма, приводящего к созданию некой антионтологии, выстраиваемой на основе противоречий структуралистской онтологии. Все признаки такого развития событий я усматривал в деятельности НОВОЙ КРИТИКИ во главе с Бланшо... И наконец, двумя годами ранее были опубликованы «Сочинения» Лакана – точнее, это произошло за год до выхода моей книги – они появились в конце 1966-го, а я писал о нем в начале 1968-го.

Я так подробно останавливаюсь на этих датах для того, чтобы объяснить, почему весь раздел Г в сущности оказался ПАМФЛЕТОМ. Я писал под впечатлением от только что прочитанного и от только что пережитых споров – это были не аналитические штудии, а полемика.

Я все это говорю потому, что сегодня прочтение Лакана мне представляется не вполне верным. Но что значит «верное прочтение», если сами уроки Лакана – не берусь судить, было ли у него такое намерение, – легли в основу теории деконструкции, свободного обращения с материей текста и, стало быть, права на почти богословский подход к этому новому Писанию? Ясно, что мое прочтение Лакана было «симптоматическим», и я склонен согласиться с тем, что симптоматическое прочтение ущербно, коль скоро из текста надо извлекать только то, что хотел сказать автор, а не то, что, хотя бы и вопреки авторским намерениям, сказалось в тексте. Но мне трудно учиться у человека, весьма

расположенного к тому, чтобы мое симптоматическое прочтение в свою очередь прочитало симптоматически.

Между тем не было недостатка в тех, кто старался объяснить мне мою ошибку. Я относился к Лакану как к философу, оперирующему философскими понятиями (а он действительно этими понятиями оперировал, причем сам возводил их к Хайдеггеру!). Но мне было сказано, что философские понятия, когда ими пользуется психоаналитический дискурс, обретают иной смысл. Такие термины, как Бытие, Истина или Другой, отнесенные к бессознательному, фаллосу и Эдипову треугольнику, это не то же самое, что те же понятия, отнесенные, скажем, к Богу или к бытию как таковому. Так ли это? Возможно, это верно по отношению к Лакану, но я не уверен в том, что это так и для того, кто позже взялся бы перечитать Платона или Парменида, Хайдеггера или Ницше. Я хочу сказать, что мне и сейчас кажется, что, когда я писал: «начав отсюда, мы непременно придем туда-то», я, возможно, понимал Лакана слишком широко, но я указал путь, по которому пошли многие из тех, кто так же свободно, как и я, прочитал Лакана. Вот почему я считаю, что, хотя я и предупредил читателя о полемическом, случайном и поверхностном характере моих высказываний, содержащихся в пятой главе раздела Г («Структура и отсутствие»), все же я не совсем оказался в ней неправ. Пусть я не знаю, что такое «право», но тут я прав.

Когда встал вопрос о том, чтобы переписать некоторые части книги для издания за границей, то именно эту главу я и попытался переделать, учтя упреки, которые к ней предъявлялись. Югославский, бразильский и польский переводы вышли слишком быстро и остались идентичными первому итальянскому изданию, которое здесь и воспроизводится. Напротив, текст испанского, французского, немецкого и шведского переводов частично пересмотрен и обновлен. Во французском издании 1972 года я писал: «Эти переделки связаны не только с тем, что автор пересматривает свою книгу через несколько лет после написания, они обусловлены самой природой семиотической науки, дисциплины, которая, складываясь и перестраиваясь чуть не каждодневно, обязывает ученых и читателей рассматривать всякое произведение как некий палимпсест».

Палимпсестом, должным образом выскобленным и заново написанным, был раздел А главы «Перипетии смысла», вошедшей в «Формы содержания»; я пересмотрел и сократил различные пункты раздела Г и, в частности, полностью переписал всю злополучную пятую главу Короче говоря, я выбросил

полемику с Лаканом. Посчитав свои доводы уязвимыми, я решил элиминировать полемику. Но ее упразднение вело к тому, что я мог лишиться того самого скрепляющего звена, которое позволяло мне обосновывать внутреннюю противоречивость всякого онтологического структурализма и неизбежность его распада, если только структурализм не начнут воспринимать как некий метод.

Как найти выход из этого тупика? В 1966–1968 годах я рассуждал приблизительно так: мне казалось, что в лакановском психоанализе имеют место более или менее эксплицитно выраженные философские идеи (от которых сам Лакан, собственно, и зависит), которые не могут не привести к таким-то и таким-то последствиям. Стало быть, речь идет о том, чтобы разобраться с этими самыми философскими идеями, и, таким образом, вся моя дедукция от предпосылок к следствиям переносится на почву философии, при этом я не ступаю на почву психоанализа, на которой чувствую себя неуверенно (и напрасно я сражался на чужом поле). Конечно, читатель с помощью некоторых примечаний сообразит, что мои доводы касаются также и Лакана, но в какой степени – уточнять не стану, ведь, когда я расставлял все точки над *i*, ничего хорошего из этого не выходило. В этой истории Лакан выступает только передатчиком идей, которые могли бы иметь хождение и развиваться и без посредничества лакановского психоанализа. Я отдаю себе отчет в том, что у меня получается контрфактическое предложение типа «если бы Наполеона не было, то порядки в Европе XIX века все равно были бы теми же самыми, что и те, что установились после Венского конгресса», истинность которого вытекает – и, как сказал бы логик, вполне законно – из истинности следствия, не зависящей от истинности antecedента. Но пусть «ахронисты» оценивают, в какой мере мое решение предполагало понимание истории как истории идей. Что мне точно известно, так это то, что сегодня постструктурализм, французский или какой-либо иной, пользуется теми самыми понятиями, о которых я писал, даже не очень разбираясь в лаканизме и в психоанализе.

Раз уж разговор пошел начистоту, я хотел бы отвести от себя подозрение в том, что, коль скоро книга переводилась во Франции в начале семидесятых, когда лакановское слово доминировало в культурной жизни страны, я просто боялся прослыть еретиком. Но отлучение все равно воспоследовало, и очень громкое, – книга была отклонена и моими прежними и новыми издателями как могущая нанести ущерб достоинству Его Величества. Замечу в двух словах, что издание в «Меркюр де Франс» осуществлялось при поддержке именно тех французских интеллектуальных кругов, которые не разделяли лакановских взглядов и которым, следовательно, могла бы понравиться более развернутая полемика. Внесенные исправления связаны с желанием сделать строже аргументацию, а

не с соображениями «политического» свойства. Впрочем, нельзя отрицать и психологических мотивов: когда все кругом говорят, что ты не прав, со страху начинаешь во всем на свете сомневаться. Но в конечном счете все образовалось, и переоценка не принесла никаких крутых перемен, по крайней мере, с теоретической точки зрения.

И все же новая версия не сводилась к исправлению как таковому – это была попытка доказать, что в чем-то я все-таки прав. Вот почему отголоски моего тогдашнего отлучения слышны до сих пор. Мне остается добавить, что единственным человеком, в котором я никогда не замечал ни враждебности, ни желания прервать знакомство (почему-то во Франции такое желание фатально сопутствует расхождению во мнениях) и который, напротив, проявлял только искреннюю благожелательность, был сам Жак Лакан.

Итак, я думаю, что после рассказа о теоретических превращениях, сопровождавших работу над разделом Г, и о частичных изменениях, на которые я пошел, надо сделать только одну вещь, чтобы покончить с этим предисловием: опубликовать впервые на итальянском языке ту часть, которая в иностранных изданиях заменяла собой параграфы сто ix.4 (начиная с IX.5 и далее текст не менялся).

2. Размышления 1971 /1972

2.1. Саморазрушение структуры

Предположим, что мы выявили структуру некоего языка, обозначим ее s

. Затем – структуру родственных отношений в селении, в котором говорят на этом языке. Назовем эту структуру родства s

. Наконец предположим, что нам удалось выявить структуру, регулирующую пространственную организацию селения. Назовем ее s

. Очевидно, что это поверхностные структуры и в них можно обнаружить некое сходство в той мере, в какой они являются реализацией более глубокой структуры, назовем ее S .

Так вот, вопрос заключается в следующем: если я обнаружу какое-то новое явление, которое поддается описанию в тех же терминах s

, s

, s

, то мне не останется иного выхода, кроме как установить наличие четвертой поверхностной структуры s

, для которой глубокая структура S

предстанет совокупностью правил ее трансформации в s

, s

и s

. Если же, напротив, передо мной новый феномен, описываемый в терминах модели s

, гомологичной возможным моделям s

, s

и S

, то последние будут приводиться уже не к S, но к новой модели S. В свою очередь S

и S

также можно рассматривать как манифестации самой глубинной структуры S

, как это показано на нижеследующем рисунке.

Вполне очевидно, что мы получили только ядро некоего более обширного разветвления, благодаря которому всякий раз, когда в этом возникнет ОПЕРАТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, мы сможем нисходить к более глубинным структурам. Но ясно, что этот метод основывается на двух фундаментальных принципах: а) структура S

, описываемая как последняя, наиболее глубинная в этом ряду, является таковой только как рубеж, которого достигло познание, новое исследование может лишить ее статуса глубинной, статуса последнего кода, преобразая в одну из стольких промежуточных поверхностных структур; б) отступление от кода к метакоду возможно только при обнаружении новых феноменов, вынуждающих к перестройке объясняющих моделей, при отсутствии таковых феноменов у меня нет оснований для формулировки новых метакодов, разве что я этим займусь как некой логической гимнастикой. Формулирование новых метакодов на уровне «emic» без материала «etic», оправдывающего это занятие, – это всего лишь упражнение в абстрактной комбинаторной логике, которая производит инструментарий для объяснения реальности, но необязательно ее объясняет.

И все же именно с этим последним пунктом онтологический структурализм никак не соглашается. Для него всякое абстрактное упражнение в комбинаторной логике поставляет «истинные» модели реальности. Почему? Потому что он гипостазирует в качестве философской истины то, что было всего лишь осторожной оперативной гипотезой, с которой все и начиналось: мыслительные операции воспроизводят реальные отношения, а законы мышления изоморфны законам природы.

А раз так и в связи с тем, что метакод S

, объясняющий поверхностные структуры s

, s

, s

, s

, уже найден, онтологический структуралист может не ждать открытия феноменов иного порядка, чтобы показать, что (s

, s

, s

, s

) ? S

, где (S

· S

) ? S

. Онтологический структуралист способен вывести S

непосредственно из S

. Всегда и везде. Онтологический структуралист видит в самой природе S

(существующего объективно, а не как исследовательская гипотеза) некое ядро S

, стало быть, еще более глубинное образование, зародыш всех возможных Кодов, Код Кодов, Пра-Код или, лучше, Пра-Систему, которая, присутствуя во всякой семиотической манифестации, подтверждает существование некоего потаенного начала. Иными словами, онтологический структуралист изучает Культуру, говоря о ней в терминах *Natura Naturata*, а в самом сердце этой *Natura Naturata* он выявляет – раз и навсегда – наличную и действующую *Natura Naturans*.

Подобную операцию совершает Леви-Стросс в финале «Сырого и вареного», когда пытается выявить в любом мифе какую-то элементарную мифологическую структуру, которая а priori представляет собой структуру всякой умственной деятельности и, стало быть, структуру Духа. Фундаментальная функция мифа сводится к тому, чтобы «signifier la signification» (означать значение), такова структура бинарных оппозиций всякой коммуникации, основополагающий закон всякой умственной деятельности. «L'unique reponse que suggere ce livre est que les mythes signifient l'esprit, qui les elabore au moyen du monde dont il fait luim?me partie. Ainsi peuvent ?tre simultanement engendres, les mythes eux-m?mes par l'esprit qui les cause, et par les mythes, une image du monde dej? inscrite dans l'architecture de l'esprit» (p. 346). («Единственный ответ, который может подсказать эта книга, состоит в том, что мифы означают дух, их созидающий с помощью того самого мира, частью которого он является. Таким образом, могут породиться одновременно как сами мифы, созидаемые учреждающим их

духом, так и создаваемый мифами образ мира, уже нашедший себе место в устроении духа».) В этом смысле «la pensee mythique n'accepte la nature qu'? condition de la pouvoir repeter» (р. 347) («мифологическое мышление допускает природу только при условии, что может ее воспроизвести»). Как уже было сказано, миф, как и Культура, – это Natura Naturata, в которую заранее и непременно вписан учреждающий образ Natura Naturans.

Оппозиция, держащаяся на различии, – такова элементарная структура всякой возможной коммуникации. Бинарный принцип, рабочий инструмент логики кибернетического моделирования, преобразуется в Философский Принцип.

Но предположим, что мы действительно в состоянии отыскать во всякой выявленной нами поверхностной структуре структуру наиболее глубинную, Пра-Систему. Если это на самом деле Структура Реального, то по логике вещей она должна присутствовать и быть различимой в любой своей поверхностной манифестации.

Такая позиция предполагает два следствия философского характера, которые мы и намерены обосновать: а) если Пра-Система существует, она не может быть системой или структурой; б) если бы она и представляла собой структурированную систему, ее нельзя было бы ни увидеть, ни определить. Итак, философским следствием признания Пра-Системы будет отрицание структурного метода в качестве метода познания реальности. Если структурный метод опирается на Пра-Систему, тогда реальность, опознаваемая в качестве структуры, есть псевдореальность, и никакие структурные модели Истине ни к чему Структурные модели только маскируют Истину

Надо сказать, что нас такой вывод несколько не обескураживает: если мы полагаем, что структурные модели – не что иное, как чистые оперативные фикции, так это именно потому, что реальность богаче и противоречивее всего того, что о ней говорят структурные модели.

Но бывают утверждения и утверждения, философия и философия... И это значит, что всякая философия скрывает в себе какую-то идеологию.

Наше утверждение можно понимать так: коль скоро реальность непознаваема, то единственный способ ее познать – это изменить ее; в таком случае структурные модели становятся орудием практики. А еще это утверждение

может подразумевать, что коль скоро реальность непознаваема, то задачей познания будет манипулирование ее фиктивными образами, открывающее доступ к таинственным Истокам этой противоречивой реальности, которая от нас убегает. В таком случае структурные модели представляют собой орудия какой-то мистической инициации, ведущей к созерцанию Абсолюта. Первое решение предполагает, что познание имеет смысл в той мере, в какой оно действенно. Второе предполагает, что познание имеет смысл в той мере, в какой оно есть созерцание, – подобно отрицательному богословию оно заставляет ощутить присутствие *Deus absconditus*.

Почему же принятие идеи бинарной оппозиции в качестве метафизического принципа приводит к отмене самого понятия структуры? Подсказку мы можем найти у одного из теоретиков универсальной комбинаторики – у Лейбница.

В небольшой работе под названием «*De organo sive arte magna cogitandi (ubi igitur de vera characteristic, cabbala vera, algebra, arte combinatoria, lingua naturae, scriptura universal1)*» Лейбниц напоминает, что «наилучший способ работы ума состоит в том, что он может открывать для себя немногие мысли, из которых по порядку проистекает бесконечное множество других мыслей точно так же, как из нескольких чисел... можно вывести по порядку все остальные». «Поскольку понятий, которые постигаются, бесконечно много, то также возможно, чтобы понятия, постижимые сами из себя, были немногими». Отступая к этим элементарным понятиям, Лейбниц выделяет только два из них: «Сам Бог и кроме того ничто, или лишенность, что доказывается неким удивительным подобием». Что же это за «удивительное подобие»? Это структура бинарного исчисления! В котором «с помощью удивительного метода выражаются все числа посредством Единицы и Ничто». Перед нами философские корни бинарного исчисления: диалектическая взаимосвязь Бога и Ничто, Присутствия и Отсутствия.

Таков Лейбниц, не только математик, но и мыслитель-метафизик без околичностей и уверток. Лейбниц оставляет на долю того, кто примется размышлять о законах универсальной комбинаторики, немалую метафизическую и онтологическую проблему. Нужно ли понимать диалектику присутствия и отсутствия как некий чисто артикуляционный механизм или же речь идет о метафизических началах? Прежде всего посмотрим, как выглядит эта диалектика у ведущих представителей лингвистического структурализма, оставляя пока в стороне метафизическую проблематику

В структурированной системе любой элемент значим постольку, поскольку он не является другим или другими элементами, отсылая к которым, он их исключает. Не физическая субстанция плана выражения наделяет фонематический элемент значением, но его сама по себе пустая и замещаемая в системе валентность. Но для того, чтобы родился смысл, нужно чтобы был хотя бы один из членов оппозиции. Если же его нет, то и отсутствия другого члена также никто не увидит. Оппозиционное отсутствие становится значимым только в присутствии какого-то присутствия, его выявляющего. Субстанция плана выражения как раз и обеспечивает очевидность присутствия. Значимо то, что относится к «emic», но носителем значимостей всегда служит «etic». Или, лучше сказать, пустое пространство между двумя сущностями, которых нет, обретает значение только в том случае, если все три значимости – «да», «нет» и пустое пространство между ними – взаимообуславливают друг друга.

Отсутствие, о котором говорят структуралисты, касается двух факторов: 1) не важно, что стоит за «да» или «нет», важно, чтобы сущности, замещающие собой эти валентности, сопрягались друг с другом, 2) как только сказано «да» или «нет», это «да» или это «нет» обретает свой смысл только ввиду отсутствия другого элемента. Но что во всей этой механике значимых оппозиций в конечном счете главное – она дает нам систематическую возможность узнавать то, что есть, по тому, чего нет. Структуралистское отсутствие говорит нам о том, что на месте того, чего нет, появляется что-то другое.

А коль так, лингвист (или шире, семиолог) не обязан задаваться вопросом о том, что это за «присутствие» и что это за «отсутствие», способны ли это мышления или всего лишь гипотезы о способах мышления. На уровне «etic» – это МАТЕРИАЛЬНЫЕ факторы. Но философ, к примеру Лейбниц, неизбежно задается вопросом, не связаны ли «присутствие» и «отсутствие» с присутствием Бога как полноты бытия и отсутствием Бога, то есть с Ничто.

И если все это так, то уместен вопрос: а не существует ли еще что-то, что могло бы объять оба полюса этой диалектики?

Богослов не затруднился бы ответом: в божественном уме никакой диалектики присутствия и отсутствия нет: Бог – полнота собственного бытия. Он весь – присутствие. Именно потому божественное понимание не предполагает развития и Богу неведомы проблемы коммуникации: все сущее в единый миг объемлет Его взглядом (и ангельским умам тоже в какой-то мере дается эта привилегия – обнимать мир, причащаясь к творящему видению Бога). Почему

человек сообщает? Именно потому, что он не в состоянии охватить все единым взглядом. И поэтому есть вещи, которых он НЕ ЗНАЕТ, но о которых ему нужно СКАЗАТЬ. Недостаточность познавательных способностей и превращает коммуникацию в чередование того, что мы знаем, с тем, чего мы не знаем.

А как вообще может быть сообщено нечто неизвестное? Противопоставления и различия заставляют неизвестное всплывать из глубин неведомого.

Но тогда – и этот вывод так очевиден, что к нему не могли не прийти все западные мыслители от фламандских и поздних немецких мистиков до Хайдеггера, – коммуникация существует не потому, что мне все известно, но потому, что есть вещи, МНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ. И не потому, что я есть все (как Бог), а потому, что я не Бог. То, что составляет меня как человека, так это то, что я не Бог, это моя отделимость от бытия, моя ненадежность полнотой бытия.

Человек должен мыслить и сообщать и вырабатывать свой подход к реальности, потому что он ущербен и обделен. Он наделен обделенностью. Он и есть эта нехватка, рана, beance, Зияние. У Платона на этот счет есть понятие ????????. Что такое ?????????? Словарь дает «различие» или «отделение». Это различие по местонахождению в пространстве (????). В том смысле, что сущее и Бытие различаются по месту. Вспомним об «изначальном месте»: это то место, где помещается Бытие. Но мы?то не там. Мы всегда в ДРУГОМ МЕСТЕ.

Это «другое место» и есть отсутствие бытия, которое обязывает нас задаваться вопросами и отвечать.

Не то чтобы мы общались, используя оппозициональные различия как инструмент. Но мы общаемся, «говорим» именно потому, что мы онтологически укоренены в различии.

Эти платоновские мотивы подхватывает Хайдеггер и приходит к радикальным выводам в «Was heisst Denken?». Если в диалектике Присутствия и Отсутствия я – на стороне отсутствия, то я могу описывать присутствие, только «показывая» его. Всякий философский дискурс исходит из Отсутствия. В лучшем случае, как это и происходит у Хайдеггера, мышление должно быть мышлением этого учреждающего меня различия, в котором я познаю Отсутствие, которое я и есть, а не Присутствие, от которого я, по существу, далек, находясь в ДРУГОМ МЕСТЕ.

В этой схватке решающая роль отводится языку. Через него Бытие «раскрывается». Может быть, потому, что язык в качестве метаязыка способен описывать диалектику присутствия и отсутствия? Очевидно, что нет, коль скоро язык (см. Лейбница) на этой диалектике и базируется. Ответ Хайдеггера таков: язык это язык Бытия. Бытие говорит через меня посредством языка. Не я говорю на языке, но меня проговаривает язык.

Идея Бытия, к которому мы имеем доступ только через язык, у Хайдеггера просматривается совершенно очевидно, идея языка, который не во власти человека, потому что не человек думает на каком-то языке, но язык мыслит себя в человеке[1 - Из хайдеггеровских текстов, помимо Гёльдерлин и сущность поэзии, см. Письмо о гуманизме. Путь к языку (Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М, 1993), а также Введение в метафизику. Среди работ общего характера о Хайдеггере (на нее мы в первую очередь и опираемся) см. Vattimo G. Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Torino, 1963, особенно главу IV, «Essere e linguaggio»]. И именно плетения языка передают особые отношения человека с бытием.

А это отношения различия и членения. Предмет мысли это Различие как таковое[2 - Ср. Identitat und Differenz, Pfullingen, 1957 (Хайдеггер М. Тождество и различие. М., 1997) – См. Vattimo, cit, p. 151 и целиком гл. V.], различие как различие. Мыслить различие как таковое – это и значит философствовать, признавать зависимость человека от чего-то такого, что именно своим отсутствием его и учреждает, позволяя, однако, постичь себя лишь на путях отрицательного богословия. По Хайдеггеру, «значимость мысли сообщает не то, что она говорит, но то, о чем она умалчивает, выводя это на свет способом, который нельзя назвать высказыванием».

Когда Хайдеггер напоминает нам о том, что вслушиваться в текст, видя в нем самообнаружение бытия, вовсе не означает понимать то, о чем этот текст говорит, но прежде всего то, о чем он не говорит и что все-таки призывает, он выдвигает идею, которую мы находим у многих теоретиков онтологического структурализма, превративших язык в потеху метафор и метонимий. Вопрос «кто говорит?» означает: «кто тот, кто к нам взывает, кто призывает нас к мышлению?» Субъект этого призыва не может быть ни исчерпан, ни охвачен какой-либо дефиницией. Разбираясь с одним на первый взгляд несложным фрагментом Парменида[3 - Was heisst Denken? Niemayer, 1954. Интерпретация парменидовского фрагмента во второй части глав V–XI.], понимаемым обычно, как указывает Хайдеггер, так: «Необходимо говорить и думать, что бытие

есть»[4 - Фрагмент гласит (в скобках часть, опущенная Хайдеггером): ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????????????? ??? ??????. Анджело Пасквинелли (I Presocratici, Torino, 1958) переводит «Из слова и мысли вытекает необходимость того, что бытие есть». Другие переводы: «Говорение и мышление должны быть бытием» (Diels, Parm.), «Могущее быть помысленным и сказанным должно быть» (Burnet), «Необходимо говорить и думать, что только бытие есть» (Vors.). Принятый русский перевод «мыслить и быть одно и то же», см. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М., 1989. С. 287.], он пускает в ход весь набор этимологических ухищрений с целью добиться более глубокого понимания, которое в итоге оказывается чуть ли не противоположным общепринятому толкованию.

«Говорить» превращается в «позволить-встать-перед» в смысле «совлечь покровы», «позволить явиться», а «мыслить» понимается как «озаботиться» и «преданно охранять». Язык дает явиться тому, что мышление должно беречь и пестовать не насилуя, не выпрямляя в сковывающих и умертвляющих дефинициях. И то, чему он позволяет явиться и что берет под охрану, это То самое, что притягивает к себе всякое высказывание и всякое мышление, позволяя им быть. Но это То конституируется как Различие, как то, что никогда не может быть сказано, потому что оно – в истоках всего того, что о нем будет сказано, потому что различие присуще нашим с ним отношениям, Двойственности сущего и Бытия[5 - По Лакану (Ecrits, p. 655) «le drame du sujet dans le verbe, c'est qu'il y fait l'épreuve de son manque-?-?tre» (Драма субъекта состоит в том, что язык доказывает ему его собственную неукорененность в бытии). У того же Лакана мы обнаруживаем этимологические игры, сходные с теми, что практиковал Хайдеггер в отношении вышеупомянутого изречения Парменида, а именно интерпретацию знаменитого изречения Фрейда «Wo Es war, soll Ich werden» (Там, где было Оно, должно быть Я). Слова Фрейда следует понимать не так, как их обычно понимают (место, где было Оно, должно быть занято Я – Le Moi doit deloger le ?a), а как раз наоборот в противоположном смысле, сходном с тем, какой придает фрагменту Парменида Хайдеггер. Речь не о том, чтобы рациональная прозрачность Я вытеснила изначальную и темную реальность Оно, но о том, что нужно подступить к тому «месту», выйти на свет именно там, в том изначальном локусе, где пребывает Оно как «место бытия», Kern unseres Wesens (ядро нашего существа). Мир обретается (в ходе как психоаналитического, так и философского лечения, понуждающего меня задаваться вопросом, что такое бытие и что есмь я) только тогда, когда я соглашаюсь с тем, что я – не там, где я обычно обретаюсь, что мое место там, где меня, как правило, нет. Нужно отыскать истоки, признать их своими, liegen lassen, стать их сторожем и хранителем (Lacan, p. 417, 518, 563). И совсем не

случайно Лакан приписывает фрейдовскому изречению некую досократическую тональность. Он отсылает к Хайдеггеру «Quand je parle d'Heidegger ou plut?t quand je le traduis, je m'efforce ? laisser ? la parole qu'il prof?re sa signification souveraine» (Lacan, p. 528) (Когда я говорю о Хайдеггере и тем более когда я его перевожу, все мои усилия направлены на то, чтобы позволить слову высказать свой суверенный смысл).].

Итак, нас проговаривает язык, потому что в языке раскрывается Бытие. Хайдеггер в *Einf?rung in die Metaphysik* воспроизводит платоновское определение (?????? - ?????? ?? ????? ????? ??? ??????. Софист, 261) и переводит: «Offenbarung in Bezug und im Umkreis des Seins des Seienden auf dem Wege der Verlautbarung», что означает «Раскрытие на пути оглашения, относящееся к бытию сущего и свершающееся в его округе». Таково «имя». В языке свершается явление (*Erscheinen*) бытия, и истина как ??????? - это этимологически «непотаянность», «состояние несокрытости». Выше в той же самой работе (IV, 2) само бытие определено как такое «выказывание себя», которое чередует потаяние, обнаружение и исчезновение, это как вздох и выдох, ритм дыхания, задаваемый исходным различием.

Какие же из всего этого можно сделать выводы? А такие, что языку со всеми своими «именами» и комбинаторными нормами не удастся полностью перекрыть означающими все то, что «и так» известно «до» языка. Но это язык всегда «до». Именно он обосновывает все остальное. И следовательно, он не подлежит никаким «позитивным» исследованиям, которые могли бы выявить его законы. Иными словами, то, что некоторые именуют «сигнификативной цепью», не может быть структурировано, поскольку она сама – Исток всякой структуры. Человек «обитает в языке». Всякое понимание бытия приходит через язык, и, стало быть, никакая наука не в состоянии объяснить, как функционирует язык, ибо только через язык мы можем постичь, как функционирует мир. Действительно, для Хайдеггера единственно возможное отношение к этому гласу бытия, каковым выступает язык, это «уметь вслушиваться», внимать, вопрошать, не торопить время, хранить верность тому, что говорит в нас. Как известно, привилегированной формой такого рода вопрошаний является поэтическое слово. Поэтическое слово объясняет вещи, но кто объяснит поэтическое слово и слово вообще? К языку, как и к бытию, куда не подобрать и структуры их не вывести. Только проявляясь исторически, в различные ЭПОХИ по-разному, бытие выступает в форме структурированных универсумов. Но всякий раз, когда мы пытаемся возвести эти универсумы к их глубинному первоистоку, нам открывается неструктурированная и неструктурируемая безосновность.

Не секрет, что, совершая такую философскую операцию, Хайдеггер тем самым ставит под вопрос всю западную традицию, в которой бытие всегда мыслилось как «ousia» и, следовательно, как «присутствие» (см. *Einführung*, iv.4). Но если довести его мысль до логического конца, то под вопросом окажется само понятие «бытия». Тот, кто изучает язык как бесосновность, изучает исходное различие, которое никак положительно не коннотируется и которое, хотя и побуждает к коммуникации, само по себе ни о чем не говорит, разве что о собственной нескончаемой «игре».

Жак Деррида – это тот мыслитель, который, начав с критики структурализма под влиянием Хайдеггера и Ницше, привел к логическому завершению указанное направление философской мысли. При этом он сокрушает не только структурализм как философию (который «*reste pris aujourd'hui, par toute une couche de sa stratification, et parfois la plus feconde, dans la metaphysique – le logocentrisme – que l'on pretend au m^eme moment avoir, comme on dit si vite, "depassee"*» (De la grammatologie, p.148)[6 - «Сегодня все еще остается и в целом, и в его самом порой плодоносном метафизическом пласте логоцентризмом, который некоторые слишком скоропалительно полагают “превзойденным”»].), он сокрушает само «онтологическое» мышление, как того и желал Хайдеггер.

Если «различие» (*difference*), чье движение порождения Деррида называет *differance*, лежит в истоках всякой коммуникации, то она не поддается сведению к какой-либо наличной форме (p. 83). Созидая все временные, человеческие, исторические горизонты, различные «эпохи», о которых говорит Хайдеггер, различие «*en tant que condition du syst^eme linguistique, fait partie du syst^eme linguistique luim^eme... situee comme un objet dans son champ*»[7 - «В качестве условия лингвистической системы само входит составной частью в лингвистическую систему, помещаясь как объект в ее поле»]. И, стало быть, его невозможно описать как структуру.

Если различие – не более чем «след» (снова перед нами разрыв, «*beance*», ???????), то это не просто исчезновение источника: «*elle veut dire ici que l'origine n'a m^eme pas disparu, qu'elle n'a jamais ete constituee qu'en retour par une non-origine, la trace, qui devient aussi l'origine de l'origine... Si tout commence par la trace, il n'y a surtout pas de trace originaire*» (p. 90)[8 - «(Различие) означает здесь, что истоки никуда не делись, что оно и всегда-то было возвращением к неизначальному, следом, который оказывается, таким образом, началом начал. Если все начинается со следа, то первоначального следа вообще не

существует».].

Отметим, что подобный ход мысли имеет своим следствием утверждения, которые мы встречаем у классиков структурной лингвистики от Соссюра до Ельмслева. Соссюр говорил, что звук как материальная сущность не принадлежит языку, потому что языку принадлежит только система различий, которая наделяет звуки значениями. Выводы, к которым приходит Деррида, значительно расширяют сферу действия второго члена соссюрской оппозиции: не только система различий противопоставляется материальной реальности звука, но различие представляет собой структуру любой возможной материальной детерминации, такова структура детерминации, если ее еще можно назвать структурой. Но можно ли, ведь это уже не структура? Тогда что это?

Чтобы лучше понять, что у этой дефиниции различия есть свой «философский» резон, необходимо вернуться к нашему определению кода в его наиболее элементарном значении «системы». Система налагается на равновероятность источника информации для того, чтобы с помощью некоторых правил ограничить сферу возможных событий. Система – это система вероятностей, сужающая изначальную равновероятность. Фонологическая система осуществляет выбор нескольких десятков звуков, встраивая их в оппозиции, и сообщает им дифференциальное значение. То, что было до этой операции, представляло собой недифференцированный универсум всевозможных шумов и звуков, соединяющихся вполне беспорядочно. Некая система начинает действовать, наделяя смыслом что-то такое, что первоначально этим смыслом не обладало, при этом некоторые элементы этого «что-то» возводятся в ранг означающих. Но пока системы нет и пока это нечто не наделено кодом, в нем возможно бесконечное количество сочетаний, которые обретут смысл только ПОЗЖЕ, после наложения какой-либо системы.

Что же это за нечто не-кодифицированное? Это источник информации или – если угодно – реальность. Это то, что до всякого семиозиса семиотика может и должна изучать, только если некая система ограничивает число возможностей, приводя это нечто к форме. Действительно, есть один-единственный способ изучать то, что может произойти в универсуме до-кодифицированного и не-кодифицированного – прилагать к нему теорию вероятности. Но теория вероятности, отождествляет ли она статистические законы с объективными законами хаоса-реальности или понимает их только как инструментальный, пригодный для предвидения, может сказать только одно: каким образом может

произойти все что угодно там, где еще не оставила своего формирующего отпечатка система.

Так что же такое это нечто, чей ход человеческая мысль, не будучи способна выявить его структуру, пытается предугадать при помощи теории вероятности? Напомним о коммуникативной модели, представленной в а. I. Это Источник, Исток некой возможной коммуникации. Здесь можно было бы заметить, что «источник» это кибернетический термин с довольно точным значением и употреблять его в философском смысле значит превращать в метафору. Несомненно также, что слова Источник и Исток (Fonte, Sorgente) заставляют вспомнить о метафорах Гёльдерлина, поэзией которого вдохновлялся Хайдеггер, когда судил о поэтической речи: «Неведомо, что делает поток», как неведомо и то, что происходит в источнике информации. Здесь можно спросить о смысле использования понятийного аппарата статистики для описания ситуации безначальности, которая к тому же описывается с помощью категорий, располагающихся, как это происходит у Лакана, как раз где-то посередине между философией и психоанализом: «Cet Autre, n'est rien que le pur sujet de la moderne strategie des jeux, comme tel parfaitement accessible au calcul de la conjecture, pour autant que le sujet reel, pour y regler le sien, n'a ? y tenir aucun compte d'aucune aberration dite subjective au sens commun, c'est-?-dire psychologique, mais de la seule inscription d'une combinatoire dont l'exhaustion est possible» (Ecrits, p. 806)[9 - «Этот другой представляет собой не что иное, как чистый субъект современной стратегии игры, и как таковой он вполне доступен расчету вероятностей, если только реальный субъект, рассчитывая собственную конъюнктуру, не будет принимать во внимание никаких отклонений, называемых субъективными в обычном смысле, то есть психологических, но только лишь вписывать себя в некую поддающуюся исчерпыванию комбинаторику».]

Между тем существует глубокая общность между пробабилистической концепцией и идеей игры, нашедшая выражение в формулировке «теории игр». Теория игр пользуется пробабилистическим инструментарием, чтобы узнать, что МОГЛО БЫ произойти там, где нет predetermined структуры и где возможно все. Так и на философском уровне при осмыслении не-изначальности, необязательно принимающей мистический и «нуминозный» вид хайдеггеровского бытия, не-изначальность наводит на мысль об игре. Эта идея ницшеанского происхождения, она подхвачена Деррида и Фуко, которые пользуются ею в строго «философском» смысле.

Ведь это у Ницше наиболее рельефно очерчивается тема человека как существа «без происхождения» и мира как поля вечной игры: «мы лишний раз убедились в “бесконечности” мира, поскольку не сумели доказать невозможность того, что он заключает в себе бесконечное число интерпретаций» (Веселая паука)[10 - Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 515.].

Поиск не-изначальности преобразуется тогда в поиск «le sommet virtuel d'un c?ne o? toutes les differences, toutes les dispersions, toutes les discontinuites seraient resserrees pour ne plus former qu'un point d'identite, d'impalpable figure du m?me» (Foucault, Les mots et les choses, p. 341)[11 - «Вершины воображаемого конуса, в которой все различия, все рассеяния и все разрывы окажутся вновь стянутыми вместе, чтобы образовать нечто иное, как некую точку идентичности, неосязаемый образ того же самого».]. Как уточняет Деррида (De la grammatologie, p. 73), самодвижение «differance» создает ситуацию игры, которая не есть «un jeu dans le monde», но «le jeu du monde» (не игра в мире, но игра мира).

Именно поэтому самые суровые упреки он адресует Леви-Строссу, последнему и наиболее выдающемуся представителю «онтологии присутствия» и, стало быть, метафизики структуры.

2.2. Онтологический структурализм и его идеология

Как же получилось так, что рассуждая о фонологических оппозициях, мы пришли к оппозициям онтологическим? Возвратимся на миг к пути, проделанному лингвистом. Разговаривают два человека. Они издают звуки, которые суть материальные факты, могущие быть записанными на магнитофоне. Лингвист задается вопросом: как получается, что эти звуки что-то «означают»? И получает ответ, они – и это некая гипотеза – определяются через оппозиции. Понятие оппозиции – это рабочий инструмент, позволяющий объяснить, как получается, что два материальных события производят значения, как такая вещь, как мысль, может иметь материальное основание. Следовательно, лингвист выводит из «надстроечных» (accadimenti sovrastrutturali) – в смысле диалектического материализма – явлений явления «базисные» (strutturali) – в смысле материалистической диалектики. Лингвист разрабатывает удивительную

конструкцию универсума «emic» только потому, что существует универсум «etic». Метаморфозы философского порядка случаются тогда, когда лингвист или кто-то еще превращает инструмент объяснения (очевидно, временного пользования и полученный благодаря абстрагированию) в философское понятие и принуждает инструментарий становиться причиной (causa causante) того самого явления, для исследования которого этот инструментарий и разработан. Emic становится причиной etic. Фонологические принципы, служащие для объяснения фонетических явлений, отныне их **ОБОСНОВЫВАЮТ**. Того, кто стоял на ногах, ставят на голову. Так различие, которое поначалу объясняло как два члена оппозиции, порознь бессмысленные, рождают смысл, преобразуется в источник значения. Теперь это уже не то, что объясняет значение, но то, что его причиняет. Оттесняя все прочие философские толкования, философские абстракции **РАЗЛИЧИЯ** и **ОТСУТСТВИЯ** преобразуются в **ПРИСУТСТВИЕ**, и оно-то единственно и достойно упоминания.

Впредь всякий, кто хочет объяснить феномен коммуникации, если он последователен, должен считать, что:

- а) язык предшествует человеку и даже учреждает его как такового;
- б) не человек говорит на том или ином языке, но язык «проговаривает» человека.

Утверждение (б) вовсе не значит, что человек всегда обязан мыслить и общаться на основе социально детерминированных кодов, этот вывод нас весьма устраивает с семиотико-методологической точки зрения, он важен как исходный пункт для разработки семиотики, которая всегда пытается показать, на основе каких существующих социальных и исторических кодов люди общаются. Но эта предпосылка подразумевает, что язык «проговаривает» человека согласно тем законам и правилам, которые человеку не дано познать.

Стало быть, структуры разных языков и исторически сложившиеся коды могут существовать, но это не структура языка как такового, не некая Пра-система, не Код кодов. Последний никогда не станет нашей добычей. Никакое металингвистическое изучение элементарных механизмов языковой деятельности невозможно именно потому, что в основе нашего говорения о механизмах таковой деятельности лежит сам язык. Изучать язык – значит только

ВОПРОШАТЬ язык, давая ему жить своей жизнью.

Язык никогда не будет тем, что мы мыслим, но тем, в чем свершается мысль. Следовательно, говорить о языке не значит вырабатывать объясняющие структуры или прилагать правила речи к каким-то конкретным культурным ситуациям. Это значит давать выход всей его коннотативной мощи, превращая язык в акт творчества, с тем чтобы в этом говорении можно было слышать зов бытия. Слово не есть знак. В нем раскрывается само бытие. Такая онтология языка умерщвляет всякую семиотику. Место семиотики занимает единственно возможная наука о языке – поэзия, *écriture*.

Итак, всякое исследование структур коммуникации выявляет не какую-то залегающую в глубине структуру, а отсутствие структуры, локус непрестанной «игры».

На смену двусмысленной «структуралистской философии» приходит нечто новое. Не случайно те, кто сделал наиболее последовательные выводы из этой ситуации – мы имеем в виду Деррида и Фуко, – никогда не утверждали, что они структуралисты, хотя из соображений удобства «структуралистами» называют целый ряд ученых, объединенных некой тематической общностью.

Если в истоках всякой коммуникации и, следовательно, любого культурного феномена лежит изначальная Игра, то ее не определить с помощью категорий структуралистской семиотики. Под вопрос ставится само понятие Кода. Корни всякой коммуникации уходят не в Код, а в отсутствие какого бы то ни было кода.

Как только язык начинают понимать как некую силу, действующую за спиной человека, как «сигнификативную цепь», которая строится в соответствии с собственными вероятностными закономерностями, онтологический структурализм (уже не структурализм) перестает быть методологией изучения культуры и превращается в философию природы.

Научный анализ сигнификативных цепей оказывается чистой утопией. Если цепь означающих и истоки – это одно и то же, то как возможен ее объективный анализ, ведь означающие нуждаются в непрерывном вопрошании, и, стало быть, в герменевтическом толковании?

Как можно заниматься анализом означающих, пренебрегая теми значениями, которые они на себя принимают, если истоки «эпохально» обнаруживают себя как раз в форме значений и придание «эпохальных» значений модусам, в которых бытие, всегда скрытое от глаз, приоткрывается, оказывается единственно возможной формой философствования?

В одном итальянском интервью Леви-Стросс заметил по поводу «Открытого произведения» (1962), что нет смысла ставить вопрос о структуре потребления произведения искусства: произведение можно рассматривать как некий кристалл, отвлекаясь от спровоцированных им ответов адресата. Но если язык – это изначальный локус, тогда наше говорение есть не что иное, как вопрошание Бытия, и, стало быть, не что иное, как непрерывный ОТВЕТ, оставляющий безответным вопрос о реальной структуре языка.

Если Последняя Структура существует, то она не может быть определена: не существует такого метаязыка, который мог бы ее охватить. А если она как-то выявляется, то она – не Последняя. Последняя Структура – это та, что, оставаясь скрытой, недостижимой и неструктурированной, порождает все новые свои ипостаси. И если прежде всяких определений на нее указывает поэтическая речь, то тут-то и внедряется в изучение языка та аффективная составляющая, что неотъемлема от всякого герменевтического вопрошания. И тогда структура не объективна и не нейтральна: она уже наделена смыслом.

Итак, отправляться на поиски ПОСЛЕДНЕГО ОСНОВАНИЯ коммуникации – значит искать его там, где оно не может быть более определено в структурных терминах. Структурные модели имеют смысл, только если НЕ ставится вопрос о происхождении коммуникации. Как и кантовские категории, они имеют значение только в качестве критериев познания, возможного в круге феноменов, и не могут связывать феноменальный и ноуменальный миры.

Стало быть, семиотика должна набраться мужества и очертить собственные границы при помощи некоторой – пусть скромной – «Kritik der semiotischen Vernunft» («Критики семиотического разума»). Семиотика не может быть одновременно оперативной техникой и познанием Абсолюта. Если она представляет собой оперативную технику, то ей не следует предаваться фантазиям относительно того, ЧТО происходит в истоках коммуникации. Если же она – познание Абсолюта, то она не может сказать ничего о том, КАК осуществляется коммуникативный процесс.

Если же, напротив, предметом семиотики становится Происхождение всякой коммуникации и это Происхождение никак не поддается анализу, оставаясь всегда «за кадром», «по ту сторону» ведущихся на его счет разговоров, тогда главный вопрос, которым должна задаться семиотика такого типа, это вопрос: КТО ГОВОРИТ?

Мы не собираемся отрицать здесь законность этого вопроса. Мы даже полагаем, что такая постановка вопроса открывает небезынтересные философские горизонты. Но вот тут-то и как раз потому, что вопрос этот веками порождал совершенно определенный тип философствования, нам следовало бы еще раз набраться мужества и спросить также об идеологии такого вопрошания, даже если сам вопрошающий заблуждается насчет мотивов своего вопроса. Выявлять идеологию – одна из задач семиотики. Но для этого надо верить, что семиотика возможна. А верить в то, что семиотика возможна, значит руководствоваться уже другой идеологией.

Введение

В этой книге мы задаемся вопросом о том, что такое семиотическое исследование и каков его смысл. Иными словами, такое исследование, в котором все феномены культуры рассматриваются как факты коммуникации и отдельные сообщения организуются и становятся понятными в соотношении с кодом.

Никто не спорит о том, что словесное высказывание, текст, составленный при помощи азбуки Морзе, дорожный знак представляют собой сообщения, построенные на базе принятых кодов, но семиотике также приходится рассматривать сообщения, кажущиеся естественными, немотивированными, спонтанными, рождающимися по аналогии, например, такие как портрет Моны Лизы или образы Франки и Инграссии, и более того, она рассматривает факты культуры, на первый взгляд вовсе не связанные с коммуникацией, такие как дом, вилка или система общественных отношений. Мы сознательно детально рассматриваем вопросы визуальной коммуникации и архитектуры, – в противном случае семиотики уступят поле битвы лингвистам и кибернетикам, чье оружие отличается точностью. Но если семиотическое исследование по необходимости опирается на достижения лингвистики и теории информации, оно все же – и это одно из положений, которые здесь отстаиваются, – не исчерпывается ни

лингвистическими, ни информационными методами.

Естественно, возникает вопрос, имеет ли смысл рассматривать все феномены культуры как феномены коммуникации. Даже соглашаясь с тем, что это проблема точки зрения, всякий может сказать, что все это придумано только для того, чтобы занять безработных интеллектуалов. Как писали недавно в одном остром памфлете, семиотические установки – это не что иное, как очередное ухищрение бюрократии, стремящейся еще раз проконтролировать то, что и так уже давно под контролем, скажем, установить такую систему налогообложения, в которой «выступы» на домах будут считаться «балконами». И вся «новизна» в том и будет состоять, что давно известное повернут другим боком. Коварный умысел полемиста, прописывающего врага по ведомству крючкотворов, пробуждая тем самым таящегося в каждом из нас правдолюбца, ясен всем и вся. Но это как если бы Птолемей упрекал Галилея за то, что он, изучая все то же Солнце и Землю, зачем-то при этом упорно ведет отсчет не от Земли, а от Солнца. Так вот, может случиться, что семиология, не претендуя на свершение великих революций, осуществляет скромный переворот наподобие Коперника.

* * *

Тот, кто согласен разделить эти воззрения, может приниматься за чтение первой части книги, которая на первый взгляд может показаться добросовестным изложением всего того, что по этому поводу сказано; но наговорено столько разных и часто противоречащих друг другу вещей, что при систематизации материала неизбежно пришлось осуществлять отбор. Выработывая дефиниции по ходу нашего повествования, доступного, но не эклектического, объективного, но и пристрастного, приходилось кое-чем поступаться.

Далее рассматриваются визуальные коды от флажковой сигнализации до кинематографа, при этом оспариваются некоторые мифы о прикладной лингвистике как всеобщей отмычке (*clavis universalis*). В заголовке «Дискретное видение» слово «дискретный» использовано как антоним к слову «континуальный», чтобы выделить проблему идентификации различительных признаков в визуальной коммуникации. Затем речь идет об архитектуре, градостроительстве и дизайне.

Здесь наша книга, дотоле исследовавшая вопросы кодов и их структур, стремящаяся по возможности исчерпывающе определить понятие «структуры»,

переходит к трактовке эпистемологических аспектов любого структуралистского дискурса. И обсуждает эту проблему применительно к таким сферам, как этнология, литературная критика, музыковедение, психоанализ и история идей. У нас нет намерения оценивать достоинства отдельных исследований, но мы хотим с предельной ясностью продемонстрировать, какие философские выводы следуют из представления – иллюзорного – о структуре как о наличном, уже имеющемся, последнем и неизменном основании всех природных и культурных явлений, а также показать, что такой онтологический статус предполагает, как мы увидим, разрушение самого понятия структуры, онтологию Отсутствия, Пустоты, которая, согласись мы с этим, означала бы бытийственную неукорененность любого нашего действия. Таков философский вердикт, истина в последней инстанции, обжалованию не подлежащая. И коли так, с этим велением Необходимости следует молчаливо согласиться, смирившись с реальным положением дел. Почему и закрадывается подозрение, а не слишком ли быстро мы поверили в эту окончательность? Не получится ли тогда, что истина истиной, а Платон дороже – *arnica veritas, sed magis amicus Plato?*

* * *

Использование названия всей книги для заголовка четвертого раздела преследует двоякую цель: возбудить любопытство читателя и усыпить тревогу автора. Заявление о том, что такая вещь, как структура, и вдруг отсутствует, должно смутить читателя, ведь это та самая структура, которая заполонила собой всю культурную сцену современности и к которой взывают всякий раз, когда возникает нужда в чем-то устойчивом, незыблемом в сравнении с тем, что зыбко, изменчиво, преходяще. Автор, со своей стороны, избирает эту формулу, возлагая на себя обязательство *sciam populo** и желая положить конец сомнениям, пронизывающим его книгу от начала до конца, и именно поэтому настоящий труд может считаться не более чем введением в грядущее исследование. Исследование, возможное только в том случае, если структуру (ту самую, которая, будучи признана объективной, неизбежно претворится во что-то иное, в не-структуру) для пользы дела в методологических целях взять и объявить несуществующей. Если бы она существовала и мы могли ее открыть – однажды и навсегда, – семиотика, вместо того чтобы быть исследованием, превратилась бы в свод основополагающих принципов, которые без промедления прилагаются к любому явлению, гарантируя пригодность объяснений, добытых вчера, для любого завтрашнего события. Не разделяя такой уверенности, автор счел нужным поведать читателю о своих сомнениях,

озаглавив книгу именно так, а не иначе.

Те же, кого философские вопросы не особенно занимают, могут спокойно пропустить четвертую часть и заняться обзором пятой, где рассматриваются все направления и границы, в которых в наши дни может двигаться исследование знаков, вплоть до той последней черты, когда уже не приходится вести речь ни о коммуникации, ни о кодах, ни о конвенциях.

* * *

Итак, категорически отвергая метафизику некоего Кода Кодов, семиотическое исследование вместе с тем – как мы его себе представляем – стремится показать, что всякий коммуникативный акт перенасыщен социально и исторически обусловленными кодами и от них зависит. И еще оно, по-видимому, всегда склонно подтверждать то обстоятельство, что не мы говорим с помощью языка, а язык говорит с нашей помощью, ведь случаи, когда это не так, гораздо более редки, чем принято думать, и всегда даны *sub aliqua conditioned*. Вместе с тем семиотическое исследование, признавая нашу зависимость от языка, рассеивая иллюзии по поводу свободы самовыражения, находит свободу и творчество там, где они действительно имеют место.

Знать границы, внутри которых язык говорит через нас, – это значит не верить сказкам об изливаниях творческого духа, свободном полете фантазии, о чистом слове, которое сообщает и убеждает посредством заключенной в нем тайной силы. Это значит трезво и осторожно подходить к случаям, когда действительно сообщается что-то, еще не учтенное языковыми конвенциями, – то, что может стать достоянием общества, но что пока оно не разглядело.

Значение семиологии, расширяющей наши представления об историческом и социальном мире, в котором мы живем, радикально возрастает в связи с тем, что семиология, описывая коды как системы ожиданий, действительные в знаковом универсуме, намечает контуры соответствующих систем ожиданий, значимых в универсуме психологических феноменов и способов мышления. В мире знаков семиология раскрывает мир идеологий, нашедших свое выражение в уже устоявшихся способах общения.

* * *

Отрицая Структуру во имя утверждения структур, мы продвигаемся в этой книге – автор прекрасно это сознает – с известной опаской. Иначе книга была бы не введением, а, скорее, заключением.

По сути дела, она исследует семиологию собственно семиотическими методами. Вместо того чтобы начинать с постановки проблем, проясняя их мало-помалу, мы сводим все интересующие нас феномены к довольно простой модели, взяв за основу простейший случай коммуникации, а именно передачу сигнала от одного устройства к другому. Затем исходные понятия подвергаются критической оценке, расширяются, предстают в ином свете, отвергаются, загоняются в расставленные ловушки, испытываются на прочность. Так мы пытаемся избежать редукционизма, сводящего более сложные явления к более простым, и постепенно усложнить первоначальную модель, тем самым верифицируя ее. При этом мы надеемся, что книга не вполне отвечает максиме Уолта Уитмена: «Я себе противоречу? Да, противоречу. Ну и что?» (которую, впрочем, следует принять к сведению), мы надеемся, что нам удастся в конце книги вернуться к исходной модели, сделавшейся гораздо менее жесткой и более универсальной, способной охватить не только самые простые и очевидные случаи, но и такие, в которых коммуникация – в универсуме культуры – реализуется в процессах означивания, разрывах и коллизиях, опосредованиях, столкновениях, противоречивом взаимодействии предполагаемых констант и реального хода событий.

Мы хотели бы попросить читателя не слишком доверяться тому, что говорится в каждой главе, взятой отдельно. Кроме того, если побуждаемый желанием вынести окончательный вердикт читатель захочет спросить себя, что за книгу он держит в руках, структуралистскую или антиструктуралистскую, то пусть знает, что автор заранее согласен с обоими ярлыками.

* * *

Нелишне заметить, что первая часть этой книги была опубликована ограниченным тиражом для учебных целей и в продажу не поступала. Она называлась «Заметки по вопросам семиологии визуальной коммуникации» и была посвящена Леонардо Риччи.

Значительная часть работы над текстами, вошедшими в раздел «Отсутствующая структура», была проделана во время подготовки трех лекционных курсов, прочитанных на факультетах архитектуры в Милане, в Сан-Паулу и во Флоренции. Автор обязан молодым архитекторам постоянной озабоченностью и желанием укоренять сообщаемое в преобразуемом. Некоторые главы посвящены темам, обсуждавшимся на различных конференциях и коллоквиумах: в Брюссельском институте социологии, в SECMAS в Париже, во время дискуссий в Royaumont, в институте А. Джемелли (экспериментальное исследование социальных проблем визуальной коммуникации), на конгрессе «Vision-67» в Нью-Йоркском университете, на семинаре по структурализму в Институте Грамши в Болонье, на Съезде по проблемам телевидения, Перуджа, 1965, на Третьей международной выставке «Новое кино» в Пезаро и в Высшей школе социальных коммуникаций в Бергамо.

Ссылки подтверждают, сколь многим я обязан разным ученым, с особой благодарностью я вспоминаю напряженные дискуссии с Роланом Бартом и группой Комюникасьон, в частности, Метцем, Бремоном и Тодоровым, беседы с Франсуа Валем, обсуждение статуса семиологии с Марией Корти и Чезаре Сегре, проблем архитектуры, на которые обратили мое внимание Витторио Греготти и Бруно Дзеви, а также советы Паоло Фаббри по части библиографии и содержания, когда книга уже обретала форму

Милан, 1964—1968

А. Сигнал и смысл (Общесемиологические понятия)

1. Мир сигнала

I. Знаковые системы

I. I. Семиология рассматривает все явления культуры как знаковые системы, предполагая, что они таковыми и являются, оставаясь феноменами коммуникации. Тем самым семиология отвечает потребностям разнообразных современных научных дисциплин, которые как раз и пытаются свести явления разного порядка к факту коммуникации[12 - См. «Communications», № 4, Presentation; Roland Barthes, *Elementi di semiologia*, Torino, 1966 (Ролан Барт. Начала семиологии)]. В том, что семиология изучает только явления культуры, можно усомниться хотя бы потому, что существуют такие ее ответвления, как зоосемиотика, изучающая коммуникативные процессы в животном мире. Однако, по-видимому, также и эти исследования, скажем изучение языка пчел, направлены на выявление систем конвенций, хотя бы и инстинктивного характера, и, стало быть, форм социальной регламентации животного поведения.]. Психология изучает восприятие как факт коммуникации, генетика устанавливает коды наследственной информации, нейрофизиология описывает процесс передачи сигналов с периферии нервных окончаний к коре головного мозга, при этом все эти дисциплины неизбежно обращаются к математической теории информации, которая и была создана для того, чтобы объяснить процесс передачи сигнала на уровне машины на основе общих положений физико-математических дисциплин. По мере своего развития такие науки, как кибернетика, занимающаяся вопросами контроля и управления автоматическими системами и электронно-вычислительной техникой, сблизилась с биологическими и неврологическими исследованиями[13 - R. Pierce, *La teoria dell'informazione*, Milano, 1963; AAW, *Filosofia e informazione*, «Archivio di Filosofia», Padova, 1967; Ross Ashby, *Design for a Brain*, London, 1960; W. Slukin, *Mente e macchine*, Firenze, 1964; AAW, *Kybernetik*, Frankfurt, a. M., 1966; AAW, *La filosofia degli automi*, Torino, 1965; A. Goudot-Perrot, *Cybemetique et biologie*, Paris, 1967.]. Одновременно коммуникативные модели находят все более широкое применение при изучении жизни общества[14 - См., например, Giorgio Braga, *La rivoluzione tecnologica della comunicazione umana*, Milano, 1964, и *Comunicazione e societa*, Milano, 1961.], при этом на редкость эффективным оказывается сотрудничество структурной лингвистики и теории информации[15 - Особенно в работе «Лингвистика и теория коммуникации». Roman Jakobson, *Saggi di linguistica generale*, Milano, 1966 (и вся книга в целом); см. также: Colin Cherry, *On Human Communication*, N.Y., 1961; George A. Miller, *Language and Communication*, N. Y., 1951; Andre Martinet, *Elementi di linguistica generale*, Bari, 1966 (особенно гл. 6, III); G. C. Lepschy, *La linguistica strutturale*, 1966 (приложение); S. K. Saumjan, *La cybemetique et la langue*, in *Problemes du langage*, Paris, 1966.], предоставляющее возможность применять структурные и информационные модели при описании культур, систем родства, кухни, моды, языка жестов, организации пространства и т. и., и даже эстетика иногда заимствует некоторые понятия теории

коммуникации, используя их в своих целях[16 - Два наиболее примечательных примера: A. A. Moles, *Theorie de l'information et perception esthetique*, Paris, 1958 (Авраам Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966); Max Bense, *Aesthetica*, Baden Baden, 1965; общая библиография по теме приведена в главе «Apertura, informazione, comunicazione», Umberto Eco, *Opera aperta*, Milano, 2

edizione, 1967.]. Ныне мы наблюдаем ощутимую унификацию поля исследований, позволяющую описывать самые разнообразные явления с помощью одного и того же научного инструментария.

I. 2. Но если любой факт культуры это факт коммуникации и его можно исследовать по тем же параметрам, как и всякий коммуникативный акт, попробуем выделить элементарную коммуникативную структуру там, где имеет место самый примитивный случай коммуникации, например, рассмотреть передачу информации от одного простейшего автоматического устройства к другому. И вовсе не потому, что сложнейшие коммуникативные феномены, включая эстетическую информацию, могут быть редуцированы к передаче сигнала от одной машины к другой, но потому что было бы полезно посмотреть, с чем мы имеем дело в самом простом и очевидном случае коммуникации, построив ее образцовую модель. И только когда нам удастся это сделать, когда мы сможем выделить коммуникативную структуру, лежащую в основе и более сложных случаев коммуникации, только тогда мы будем вправе рассматривать любое явление культуры с точки зрения коммуникации. При этом важно отметить, что, когда мы говорим о культуре, имеется в виду тот смысл, который вкладывает в это слово антропология: культура это любое природное явление, преобразованное человеческим вмешательством и в силу этого могущее быть включенным в социальный контекст[17 - Об антропологическом понимании термина «культура» см.: Kardiner Preble, *Lo studio dell'uomo*, Milano, 1963; Clyde Kluckhohn, *Mirror for Man*, N. Y., 1944; Tullio Tentori, *Antropologia culturale*, Roma, 1960; Ruth Benedict, *Modelli di cultura*, Milano, 1960; AAW, *La ricerca antropologica*, Torino, 1966; Remo Cantoni, *Il pensiero dei primitivi*, Milano, 2

ed., 1963; Carlo Tullio-Altan, *Antropologia funzionale*, Milano, 1966.].

II. Коммуникативная модель

II. 1. Итак, рассмотрим простейший случай коммуникации[18 - Приводимый ниже пример взят из работы Tullio de Mauro, *Modelli semiologici— L'arbitrarietà della semantica*, in «Lingua e stile», I. 1.]. Жители долины хотят знать, когда вода в водохранилище, расположенном в котловине между двух гор, достигнет уровня, который можно определить как опасный.

Обозначим этот опасный уровень как нулевой. Есть ли еще вода в водоеме или она ушла, ее уровень выше нулевой отметки или ниже и насколько, с какой скоростью она поднимается – все это и многое другое составляет те сведения, или информацию о состоянии водоема, которую нам желательно получить. Источником этой информации служит сам водоем.

Предположим, что в водохранилище есть приспособление вроде поплавка, которое, оказавшись на нулевой отметке, приводит в действие передающее устройство, способное послать какой-нибудь сигнал, например, электрический. Этот сигнал идет по каналу связи, будь то электрический провод или радиоволна, и поступает в принимающее устройство в долине; приемник преобразует сигнал в сообщение, предназначенное адресату. В нашем случае адресат – это другое устройство, соответствующим образом настроенное и способное при получении того или иного сообщения начать регулировать сложившуюся ситуацию, например, привести в действие механизм для спуска воды.

Именно такая коммуникативная цепь возникает в множестве устройств, называемых гомеостатами и предназначенных для того, чтобы не допускать превышения определенной температуры, обеспечивая ее регулировку при получении соответствующим образом закодированного сообщения. Но такая же цепь возникает и в случае радиосообщения. Источником информации в таком случае выступает отправитель, который, прикинув, что он, собственно, хочет сказать, начинает говорить в микрофон (передатчик); микрофон преобразует звуки голоса в другие физические сигналы, волны Герца, передающиеся по каналу связи в приемник, в свою очередь преобразующий их в артикулированную речь, которую слышит адресат. Когда я с кем-то разговариваю, замечает Уоррен Уивер[19 - Warren Weaver, *The Mathematics of Communication*, in «Scientific American», vol. 181, 1949.], мой мозг служит источником информации, а мозг моего собеседника – адресатом; мой речевой

аппарат является передающим устройством, его ухо – приемником.

Но как мы вскоре увидим, стоит нам поместить на противоположных концах коммуникативной цепи людей, ситуация чрезвычайно усложнится, поэтому вернемся к нашей первоначальной модели коммуникации между двумя механизмами.

II. 2. Чтобы известить адресата о том, что вода достигла нулевой отметки, нужно послать ему сообщение. Пусть таким сообщением будет загорающаяся в нужный момент лампочка, хотя, разумеется, у принимающего устройства нет никаких органов чувств и оно не «видит» лампочки, – с него достаточно выключателя, замыкающего и размыкающего электрическую цепь. Но для удобства мы будем говорить о загорающейся или гаснущей лампочке.

Однако состояние лампочки – это уже некий код: зажженная лампочка означает, что вода достигла нулевой отметки, в то время как негорящая лампочка говорит, что этого еще не случилось. Код таким образом устанавливает некоторое соответствие между означающим (зажженная или погасшая лампочка) и означаемым (вода достигла или не достигла нулевой отметки). Впрочем, в нашем случае означаемое это не что иное как готовность устройства определенным образом ответить на полученный сигнал, при этом означаемое и референт, т. е. то реальное явление, к которому относится знак (достижение водой нулевой отметки), – вещи разные, ведь устройство не «знает», достигла или не достигла вода нулевой отметки, прибор устроен так, что придает определенное значение сигналу «лампочка загорелась» и реагирует соответствующим образом[20 - Подробнее об этом в А.2.1.2.].

Схема 1. Коммуникативный процесс между двумя механизмами

Между тем существует также явление, называемое шумом. Шум – это возникающая в канале связи помеха, способная исказить физические характеристики сигнала. Например, электрические разряды, внезапное обесточивание и т. п., из-за чего сигнал «лампочка не горит» может быть

истолкован превратно, а именно понят так, что вода ниже нулевой отметки. Схема такой коммуникации приводится ниже.

II. 3. Это значит, что, если мы хотим уменьшить риск ошибки из-за шума, нам следует усложнить код. Допустим, мы установили две лампочки: А и В. Когда лампочка А горит, – значит, все в порядке; если А гаснет и зажигается В, – значит, вода превысила уровень нулевой отметки. В этом случае мы удвоили затраты на коммуникацию, но зато уменьшился риск ошибки, связанной с возникновением шума. Обесточивание погасило бы обе лампочки, но принятый нами код не предусматривает ситуации «обе лампочки не горят», и мы в состоянии отличить сигнал от не-сигнала.

Но может случиться и так, что из-за какой-то простейшей неисправности вместо лампочки В загорится лампочка А или наоборот, и тогда, чтобы избежать этой опасности, мы продолжаем усложнять код, увеличивая его комбинаторные возможности. Добавим еще две лампочки и получим ряд ABCD, в котором AC будет означать «безопасный уровень», BD – нулевую отметку. Таким образом, мы уменьшим опасность помех, могущих исказить сообщение.

Итак, мы ввели в код элемент избыточности: мы пользуемся двумя парами лампочек для сообщения того, что можно было бы сообщить с помощью одной лампочки, и, стало быть, дублируем сообщение.

Впрочем, избыточность, предоставляющая возможность дублировать сообщение, не только обеспечивает большую надежность, усложненный таким образом код позволяет передавать дополнительные сообщения. Действительно, код, состоящий из элементов ABCD, допускает различные комбинации, например: A-B-C-D, AB-BC-CD-AC-BD-AD, ABC-BCD-ACD-ABD, а также другие сочетания AB-CD или же A-C-B-D и т. д.

Код, следовательно, предполагает наличие репертуара символов, и некоторые из них будут соотноситься с определенными явлениями, в то время как прочие до поры до времени останутся незадействованными, не значащими (хотя они и могут заявлять о себе в виде шума), но готовыми означить любые сообщения, которые нам покажутся достойными передачи.

Всего этого достаточно, чтобы код мог сигнализировать не только об уровне опасности. Можно выделить ряд уровней, последовательно описывающих переход от полной безопасности к состоянию тревоги, обозначая уровни ниже нулевой отметки: - 3, - 2, - 1 и т. д., и ряд уровней выше нулевой отметки 1, 2, 3, от «очень тревожно» до «максимальная опасность», закрепив за каждым определенную комбинацию букв путем введения соответствующих программ в передающее и принимающее устройства.

II. 4. Каким же образом передается сигнал в кодах такого типа? Принцип их действия - это выбор из двух возможностей, обозначим его как оппозицию «да» и «нет». Лампа или горит, или не горит (есть ток в цепи, нет тока). Суть дела не меняется, если сигнал передается как-то иначе. Во всех подобных случаях имеется бинарная оппозиция, максимальная амплитуда колебания от 1 к 0, от «да» к «нет», от размыкания к замыканию.

Здесь не обсуждается вопрос о том, является ли метод бинарных оппозиций, позаимствованный, как мы увидим позже, из теории информации, наиболее подходящим способом описания передачи информации и всегда ли и везде передача информации основана на двоичном коде (всякая ли коммуникация, когда бы и где она ни осуществлялась, базируется на последовательном двоичном выборе). Однако то обстоятельство, что все науки - от лингвистики до нейрофизиологии - при описании коммуникативных процессов пользуются бинарным методом, свидетельствует о его простоте и экономичности в сравнении с другими.

III. Информация

III. 1. Когда мы узнаем, какое из двух событий имеет место, мы получаем информацию. Предполагается, что оба события равновероятны и что мы находимся в полном неведении относительно того, какое из них произойдет. Вероятность - это отношение числа возможностей ожидаемого исхода к общему числу возможностей. Если я подбрасываю монетку, ожидая, что выпадет: орел или решка, то вероятность составит $1/2$.

В случае игральной кости, у которой шесть сторон, вероятность для каждой составит $1/6$, если же я бросаю одновременно две кости, рассчитывая получить две шестерки или две пятерки, вероятность выпадения одинаковых сторон будет равняться произведению простых вероятностей, т. е. $1/36$.

Отношение ряда событий к ряду соответствующих им возможностей – это отношение между арифметической и геометрической прогрессиями, и второй ряд является логарифмом первого.

Это означает, что при наличии 64-х возможных исходов, когда, например, мы хотим узнать, на какую из 64-х клеточек шахматной доски пал выбор, мы получаем количество информации, равное \lg

64, т. е. шести. Иными словами, чтобы определить, какое из шестидесяти четырех равновероятных событий произошло, нам необходимо последовательно произвести шесть операций выбора из двух.

Как это происходит, показано на рис. 2, причем для простоты число возможных случаев сокращено до восьми, если имеется восемь непредсказуемых, так как они все равновероятны, возможных исходов, то определение одного из них потребует трех последовательных операций выбора. Эти операции выбора обозначены буквами. Например, чтобы идентифицировать пятый случай, нужно три раза произвести выбор в точке А между В

и В

, в точке В

между С

и С

и в точке С

выбрать между пятым и шестым случаями. И так как речь шла об идентификации одного случая из восьми возможных, то

Log

$8 = 3.$

В теории информации единицей информации, или битом (от «binary digit», т. е. «бинарный сигнал»), называют информацию, получаемую при выборе из двух равновероятных возможностей. Следовательно, если идентифицируется один из восьми случаев, мы получаем три бита информации, если один из шестидесяти четырех – то шесть битов.

При помощи бинарного метода определяется один из любого возможного числа случаев – достаточно последовательно осуществлять выбор, постепенно сужая круг возможностей. Электронный мозг, называемый цифровым, или дигитальным, работая с огромной скоростью, осуществляет астрономическое число операций выбора в единицу времени. Напомним, что и обычный калькулятор функционирует за счет замыкания и размыкания цепи, обозначенных 1 и 0, соответственно; на этой основе возможно выполнение самых разнообразных операций, предусмотренных алгеброй Буля.

III. 2. Характерно, что в новейших лингвистических исследованиях обсуждаются возможности применения метода бинарных оппозиций при изучении вопроса о возникновении информации в таких сложных системах, как, например, естественный язык[21 - См. библиографию в Lepschy, cit., и у Якобсона (Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985).].

Знаки (слова) языка состоят из фонем и их сочетаний, а фонемы – это минимальные единицы звучания, обладающие дифференциальными признаками, это непродолжительные звучания, которые могут совпадать или не совпадать с буквами или буквой алфавита и которые сами по себе не обладают значением, но, однако, ни одна из них не может подменять собой другую, а когда такое случается, слово меняет свое значение. Например, по-итальянски я могу по-разному произносить «е» в словах «bene» и «сена», но разница в произношении не изменит значения слов. Напротив, если, говоря по-английски, я произношу «i» в словах «ship» и «sheep» (транскрибированных в словаре соответственно «ʃɪp» и «ʃi: p») по-разному, налицо оппозиция двух фонем, и действительно, первое слово означает «корабль», второе – «овца». Стало быть, и в этом случае можно говорить об информации, возникающей за счет бинарных оппозиций.

III. 3. Вернемся, однако, к нашей коммуникативной модели. Речь шла о единицах информации, и мы установили, что, когда, например, известно, какое событие из восьми возможных осуществилось, мы получаем три бита информации. Но эта «информация» имеет косвенное отношение к собственно содержанию сообщения, к тому, что мы из него узнали. Ведь для теории информации не представляет интереса, о чем говорится в сообщениях, о числах, человеческих именах, лотерейных билетах или графических знаках. В теории информации значимо число выборов для однозначного определения события. И важны также альтернативы, которые – на уровне источника – представляются как возможные. Информация – не столько то, что говорится, сколько то, что может быть сказано. Информация – это мера возможности выбора. Сообщение, содержащее один бит информации (выбор из двух равновероятных возможностей), отличается от сообщения, содержащего три бита информации (выбор из восьми равновероятных возможностей), только тем, что во втором случае просчитывается большее число вариантов. Во втором случае информации больше, потому что исходная ситуация менее определена. Приведем простой пример: детективный роман тем более держит читателя в напряжении и тем неожиданнее развязка, чем шире круг подозреваемых в убийстве. Информация – это свобода выбора при построении сообщения, и, следовательно, она представляет собой статистическую характеристику источника сообщения. Иными словами, информация – это число равновероятных возможностей, ее тем больше, чем шире круг, в котором осуществляется выбор. В самом деле, если в игре задействованы не два, восемь или шестьдесят четыре варианта, а миллиарды равновероятных событий, то выражение

$$I = \lg$$

10

n

составит неизмеримо большую величину. И тот, кто, имея дело с таким источником, при получении сообщения осуществляет выбор одной из n миллиардов возможностей, получает огромное множество битов информации. Ясно, однако, что полученная информация представляет собой известное обеднение того несметного количества возможностей выбора, которым характеризовался источник до того, как выбор осуществился и сформировалось сообщение.

В теории информации, стало быть, берется в расчет равновероятность на уровне источника, и эту статистическую величину называют заимствованным из термодинамики термином энтропия[22 - См.: Норберт Винер, Кибернетика; С.Е. Shannon, W. Weaver, The Mathematical Theory of information, Urbana, 1949; Colin Cherry, On Human Communication, cit.; A. G. Smith, ed., Communication and Culture (часть I), N. Y., 1966; а также работы, указанные в прим. 2 и 4.]. И действительно, энтропия некоторой системы – это состояние равновероятности, к которому стремятся ее элементы. Иначе говоря, энтропия связывается с неупорядоченностью, если под порядком понимать совокупность вероятностей, организуемых в систему таким образом, что ее поведение делается предсказуемым. В кинетической теории газа описывается такая ситуация: предполагается, впрочем, чисто гипотетически, что между двумя заполненными газом и сообщающимися емкостями наличествует некое устройство, называемое демоном Максвелла, которое пропускает более быстрые молекулы газа и задерживает более медленные. Таким образом, в систему вводится некоторая упорядоченность, позволяющая сделать прогнозы относительно распределения температур. Однако в действительности демона Максвелла не существует, и молекулы газа, беспорядочно сталкиваясь, выравнивают скорости, создавая некую усредненную ситуацию, тяготеющую к статистической равновероятности. Так система оказывается высокоэнтропийной, а движение отдельной молекулы газа непредсказуемым.

Высокая энтропийность системы, которую представляют собой буквы на клавиатуре пишущей машинки, обеспечивает возможность получения очень большого количества информации. Пример описан Гильбо: машинописная страница вмещает 25 строк по 60 знаков в каждой, на клавиатуре 42 клавиши, и каждая из них позволяет напечатать две буквы, таким образом, с добавлением пробела, который тоже знак, общее количество возможных символов составит 85. Если, умножив 25 на 60, мы получаем 1500 позиций, то спрашивается, какое количество возможных комбинаций существует в этом случае для каждого из 85 знаков клавиатуры?

Общее число сообщений с длиной L , полученных с помощью клавиатуры, включающей C знаков, можно определить возводя L в степень C . В нашем случае это составит 85 в степени 1500 возможных сообщений. Такова ситуация равновероятности, существующая на уровне источника, и число возможных сообщений измеряется 2895-значным числом.

Но сколько операций выбора надо совершить, чтобы идентифицировать одно-единственное сообщение? Очень и очень много, и их реализация потребовала бы значительных затрат времени и энергии – как нам известно, каждое из возможных сообщений включает 1500 знаков, каждый из которых определяется путем последовательных выборов между 85 символами клавиатуры... Потенциальная возможность источника, связанная со свободой выбора, чрезвычайно высока, но передача этой информации оказывается весьма затруднительной[23 - G. T. Guilbaud, *La Cybernetique*, P. U. F., 1954.].

III. 4. Здесь-то и возникает нужда в коде с его упорядочивающим действием. Но что дает нам введение кода? Ограничиваются комбинационные возможности задействованных элементов и число самих элементов. В ситуацию равновероятности источника вводится система вероятностей: одни комбинации становятся более, другие менее вероятными. Информационные возможности источника сокращаются, возможность передачи сообщений резко возрастает.

Шеннон[24 - Впервые закон сформулирован R. V. L. Hartley, *Transmission of Information*, in «Bell System Tech. J.», 1928. См. также, помимо Cherry, op. cit, Anatol Rapaport, *What is Information*}, in «ETC», № 10, 1953.] определяет информацию сообщения, включающего N операций выбора из h символов, как

$$I = N$$

h

(эта формула напоминает формулу энтропии).

Итак, сообщение, полученное на базе большого количества символов, число комбинаций которых достигает астрономической величины, оказывается высокоинформативным, но вместе с тем и непередаваемым, ибо для этого необходимо слишком большое число операций выбора. Но эти операции требуют затрат, идет ли речь об электрических сигналах, механическом движении или мышлении: всякий канал обладает ограниченной пропускной способностью, позволяя осуществить лишь определенное число операций выбора. Следовательно, чтобы сделать возможной передачу информации и построить сообщение, необходимо уменьшить значения N и h . И еще легче передать сообщение, полученное на основе системы элементов, число комбинаций которых заранее ограничено. Число выборов уменьшается, но зато возможности передачи сообщений возрастают.

Упорядочивающая функция кода как раз и позволяет осуществить коммуникацию, ибо код представляет собой систему вероятностей, которая накладывается на равновероятность исходной системы, обеспечивая тем самым возможность коммуникации. В любом случае информация нуждается в упорядочении не из-за ее объема, но потому, что иначе ее передача неосуществима.

С введением кода число альтернатив такого высокоэнтропийного источника, как клавиатура пишущей машинки, заметно сокращается. И когда я, человек знакомый с кодом итальянского языка, за нее сажусь, энтропия источника уменьшается, иными словами, речь идет уже не о 85 в степени 1500 сообщениях на одной машинописной странице, обеспечиваемых возможностями клавиатуры, но о значительно меньшем их числе в соответствии с вероятностью, отвечающей определенному набору ожиданий, и, стало быть, более предсказуемом. И даже если число возможных сообщений на страничке машинописного текста неизменно велико, все равно введенная кодом система вероятностей делает невозможным присутствие в моем сообщении таких последовательностей

знаков, как «wxwxhsdewvwxhs», невозможных в итальянском языке за исключением особых случаев металингвистических описаний, подобных только что приведенным. Эта система не разрешает ставить «q» после «ass», зато позволяет предсказать с известной долей уверенности, что вслед за «ass» появится одна из пяти гласных: «asse», «assimilare» и т. д. Наличие кода, предусматривающего возможность разнообразных комбинаций, существенно ограничивает число возможных выборов.

Итак, в заключение дадим определение кода как системы, устанавливающей 1) репертуар противопоставленных друг другу символов; 2) правила их сочетания; 3) окказионально взаимооднозначное соответствие каждого символа какому-то одному означаемому. При этом возможно выполнение лишь одного или двух из указанных условий [25 - Так, в нашем примере с механизмом исключается и. 3. Получаемым сигналам не соответствует какое-нибудь означаемое. (В крайнем случае можно говорить о соответствии лишь для того, кто установил код.)].

IV. Код

IV. 1. Все сказанное позволяет вернуться к нашей первоначальной модели.

В упоминавшемся водохранилище могут происходить самые разнообразные процессы. Уровень воды в нем может устанавливаться какой угодно. И если бы нужно было описать все возможные уровни, понадобился бы большой набор символов, хотя фактически нас не интересует, поднялась ли вода на один или на два миллиметра или опустилась на столько же. Во избежание этого приходится произвольно членить континуум, устанавливая дискретные единицы, пригодные для коммуникации и получающие статус смыслоразличителей. Допустим, нас интересует, поднялся ли уровень воды с отметки - 2 до отметки - 1; при этом совершенно не важно, на сколько сантиметров или миллиметров уровень воды превышает отметку - 2. Помимо уровней - 2 и - 1 все прочие для нас несущественны, мы их не принимаем во внимание. Таким образом формируется код, т. е. из многочисленных комбинаций четырех символов А, В, С и D выделяются некоторые, наиболее вероятные.

Например:

Итак, принимающее устройство должно быть отрегулировано таким образом, чтобы адекватно реагировать только на предусмотренные комбинации, пренебрегая всеми прочими как шумом. Ничто, впрочем, не препятствует тому, чтобы не принятые в расчет комбинации были использованы в случае, если возникнет необходимость более точного расчета уровней, естественно, что при этом изменится и код.

IV. 2. И теперь мы уже можем, говоря об информации как о возможности и свободе выбора, разграничить два значения этого понятия, по форме одинаковых, ведь речь идет об определенной степени свободы выбора, но по существу различных. В самом деле, у нас есть информация источника, которая в отсутствие гидро- и метеосводок, позволяющих предсказать повышение или понижение уровня воды, рассматривается как состояние равновероятности, вода может достигнуть какого угодно уровня.

Эта информация корректируется кодом, устанавливающим систему вероятностей. В статистическую неупорядоченность источника вносится упорядочивающее начало кода.

Но кроме того, у нас есть также информация кода. И действительно, на основе имеющегося кода мы можем составить семь равновероятных сообщений. Код вносит в физическую систему некий порядок, сокращая ее информационный потенциал, но по отношению к конкретным сообщениям, которые формируются на его основе, сам код в определенной мере оказывается системой равных вероятностей, упраздняемых при получении того или иного сообщения. Отдельное сообщение в его конкретной форме, будучи какой-то определенной последовательностью символов, представляет собой некую окончательную – ниже мы увидим, до какой степени – упорядоченность, которая накладывается на относительную неупорядоченность кода.

При этом нужно отметить, что такие понятия, как информация (противопоставленное «сообщению»), неупорядоченность (противопоставленное «упорядоченности»), равновероятность (в противовес системе вероятностей) являются все без исключения понятиями относительными. В сравнении с кодом,

который ограничивает информационное поле источника, последний обладает известной энтропией, но по сравнению со сформированными на его основе сообщениями сам код тоже характеризуется определенной энтропией.

Порядок и беспорядок понятия относительные; порядок выглядит порядком на фоне беспорядка и наоборот; мы молоды в сравнении с нашими отцами и стары в сравнении с сыновьями; кто-то, считающийся в одной системе моральных правил развратником, в другой, менее жесткой, может сойти за образец нравственной чистоты.

IV. 3. Все сказанное имеет смысл при следующих условиях:

1) имеется источник информации и имеется отдельное передающее устройство, в котором, согласно заложенному коду, осуществляется идентификация смысловых признаков и отсеивание всего того, что не предусмотрено кодом;

2) приемник информации – машина, однозначным образом реагирующая на поступающие сообщения;

3) код, на который настроен приемник и передатчик, один и тот же;

4) машина – как передающее, так и принимающее устройства – не в состоянии «усомниться» в правильности кода.

Все, однако, меняется, если эти исходные условия не соблюдены, например:

1) если адресатом сообщений оказывается человек, даже если источник по-прежнему машина (см. А.2.1-IV);

2) если источник информации – человек. В таком случае источник и передатчик совмещаются (я сам являюсь источником и передатчиком информации, которую намереваюсь сообщить кому-то). Более того, часто совпадают также источник и код в том смысле, что единственной информацией, которой я располагаю, оказывается система равновероятностей, навязываемая мне используемым мной

кодом (см. А.2.V);

3) предполагается, что возможны случаи, когда либо отправитель, либо адресат могут усомниться в правильности кода (см. А.3).

Как мы увидим ниже, принятие этих условий означает переход от мира сигнала к миру смысла.

2. Мир смысла

I. Значение «значения». Денотация и коннотация

I.1. Предположим, что адресат сообщения, информирующего об уровне воды в водохранилище, не механизм, а человек. Зная код, он отдает себе отчет в том, что последовательность ABC означает нулевую отметку, тогда как прочие сигналы указывают на то, что вода находится на любом другом уровне от наименее опасного до наиболее опасного.

Итак, вообразим, что человек получает сигнал ABC. В этом случае ему становится ясно, что вода достигла нулевой отметки (опасность), но этим дело не кончается. Например, человек может встревожиться. Эта тревога родилась не сама по себе, в какой-то мере она связана с содержанием сообщения. И в самом деле, последовательность ABC, феномен чисто физического порядка, сообщает не только то, что предусмотрено кодом (вода достигла нулевой отметки), или денотативное значение, но несет дополнительное значение – коннотацию, сигнализируя об опасности. С машиной такого не бывает: соответствующим образом настроенный механизм, получив сообщение ABC, реагирует согласно заложенной программе, ему доступна информация, но значение ему недоступно. Механическое устройство не знает, что стоит за последовательностью сигналов ABC, оно не понимает ни что такое нулевая отметка, ни что такое опасность. Машина получает запрограммированное количество бит информации, необходимое для надежной передачи сообщения по каналу связи, и адекватно

реагирует.

Когда мы имеем дело с машиной, мы не выходим за рамки кибернетики, а кибернетику интересуют только сигналы. Но если в коммуникации участвует человек, то мы должны говорить не о мире сигнала, но о мире смысла. С этого момента речь должна идти уже о процессе означивания, ведь в этом случае сигнал – это не просто ряд дискретных единиц, рассчитываемых в битах информации, но, скорее, значащая форма, которую адресат-человек должен наполнить значением.

I. 2. А теперь нам следует определить содержание термина «значение» – по крайней мере в том смысле, в котором он будет использоваться в этой книге[26 - Из обширной библиографии на тему см.: Adam Schaff, *Introduzione alla semantica*, Roma, 1965; Pierre Guiraud, *La semantica*, Milano, 1966; Tullio de Mauro, *Introduzione alla semantica*, Bari, 1965; Stephen Ullmann, *La semantica*, Bologna, 1966; W.V. O. Quine, *Il problema del significato*, Roma, 1966; L. Antal, *Problemi di significato*, Milano, 1967.]. Для этого прежде всего надо избавиться от вредной привычки путать означаемое с референтом.

Обратимся в связи с этим к известному треугольнику Огдена и Ричардса[27 - C. K. Ogden, I.A. Richards, *Il significato del significato*, Milano, 1966.], изображенному ниже.

Пусть символом в данном случае будет знак естественного языка, например, слово «собака». Связь между словом и вещью, на которую оно указывает, в общем, условна и никак не мотивирована природными свойствами собаки. В английском языке стояло бы не «собака», а *dog*, и ничего от этого бы не поменялось. Отношение между символом и вещью составляет то, что называется референцией, или, как говорит Ульманн[28 - См. всю главу 3, *op. cit.*, p. 90–130. В частности, анализ воззрений Блумфилда (*Language*, N. Y., 1933).], «информацией, которую имя сообщает слушателю». Это определение пока что нас вполне устраивает, поскольку оно покрывает собой то, что одни называют понятием, другие – мысленным представлением, третьи – условиями употребления того

или иного знака и т. д. Во всяком случае, очевидно, что в то время как связь между символом и референтом остается сомнительной, при том что ее произвольный внеприродный характер сомнению не подлежит; связь, которая устанавливается между символом и референцией, непосредственна, взаимна и обратима. Тот, кто говорит слово «собака», думает о собаке, а у того, кто это слово слышит, рождается в голове образ собаки.

I. 3. Спорам об отношениях между символом, референтом и референцией нет конца. Скажем только, что по сути дела дискуссии о референте не подлежат ведению семиологии[29 - Среди авторов, напротив, особенно выделяющих проблему референта, помимо Блумфилда, упомянем исследователей материалистической ориентации (мы не говорим «марксистской», т. к. их позиция определена «Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина), таких как уже цит. Шафф и Л. О. Резников (L. O. Reznikov, *Semiotica e marxismo*, Milano, 1967).]. Те, кто занимаются проблемой референта, хорошо знают, что символа из референта не выведешь, поскольку бывают символы, у которых есть референция, но нет референта (например, слово «единорог» отсылает к несуществующему фантастическому животному, что нисколько не мешает тому, кто слышит это слово, прекрасно понимать, о чем идет речь); бывают также символы с разным значением, а референт у них один: всем известен пример из астрономии с утренней и вечерней звездой, относительно которых древние полагали, что утренняя звезда это одно, а вечерняя – это другое, между тем, как установила современная астрономия, оба значения отсылают к одному и тому же референту, точно так же два выражения, такие как «мой отчим» или «отец моего сводного брата», относятся к одному и тому же референту, хотя значения их не совпадают, они принадлежат разным контекстам и эмоционально окрашены по-разному. В некоторых семантических теориях денотатом, или означаемым некоего символа, считается целый класс вещей, существующих в действительности и охватываемых данным представлением (слово «собака» относится ко всему классу собак), в то время как коннотацией называют совокупность качеств, приписываемых собаке (набор тех свойств, по которым зоологи отличают собаку от прочих четвероногих млекопитающих). В таком случае, получается, что денотация – это то же самое, что и экстенсивность понятия, и тогда коннотация совпадает с его интенсивностью[30 - По поводу такого использования терминов см., в частности, A. Pasquinelli, *Linguaggio, scienza e filosofia*, Bologna, 2

ed., 1964 (приложение А), где сравниваются и обсуждаются позиции Рассела, Фреге, Карнапа, Куайна, Черча. См. также Ludovico Geymonat, *Saggi di filosofia neorazionalistica*, Torino, 1953. (Исчерпывающая библиография у Шаффа.)]. В нашем исследовании мы не будем пользоваться терминами денотация и коннотация в этом значении.

I. 4. Наличие или отсутствие референта, а также его реальность или нереальность несущественны для изучения символа, которым пользуется то или иное общество, включая его в те или иные системы отношений. Семиологию не заботит, существуют ли на самом деле единороги, – этим занимаются зоология и история культуры, изучающая роль фантастических представлений, свойственных определенному обществу в определенное время, зато важно понять, как в том или ином контексте ряд звуков, составляющих слово «единорог», включаясь в систему лингвистических конвенций, обретает свойственное ему значение и какие образы рождает это слово в уме адресата сообщения – человека определенных культурных навыков, сложившихся в определенное время.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Из хайдеггеровских текстов, помимо Гёльдерлин и сущность поэзии, см. Письмо о гуманизме. Путь к языку (Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М, 1993), а также Введение в метафизику. Среди работ общего характера о Хайдеггере (на нее мы в первую очередь и опираемся) см. Vattimo G. *Essere*,

storia e linguaggio in Heidegger, Torino, 1963, особенно главу IV, «Essere e linguaggio».

2

Ср. Identitat und Differenz, Pfullingen, 1957 (Хайдеггер М. Тожество и различие. М., 1997) – См. Vattimo, cit, p. 151 и целиком гл. V.

3

Was heisst Denken? Niemayer, 1954. Интерпретация парменидовского фрагмента во второй части глав V–XI.

4

Фрагмент гласит (в скобках часть, опущенная Хайдеггером): ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????????????? ??? ??????. Анджело Пасквинелли (I Presocratici, Torino, 1958) переводит «Из слова и мысли вытекает необходимость того, что бытие есть». Другие переводы: «Говорение и мышление должны быть бытием» (Diels, Parm.), «Могущее быть помысленным и сказанным должно быть» (Burnet), «Необходимо говорить и думать, что только бытие есть» (Vors.).

Принятый русский перевод «мыслить и быть одно и то же», см. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М., 1989. С. 287.

5

По Лакану (Ecrits, p. 655) «le drame du sujet dans le verbe, c'est qu'il y fait l'épreuve de son manque-?-?tre» (Драма субъекта состоит в том, что язык доказывает ему его собственную неукорененность в бытии). У того же Лакана мы обнаруживаем этимологические игры, сходные с теми, что практиковал Хайдеггер в отношении вышеупомянутого изречения Парменида, а именно интерпретацию знаменитого изречения Фрейда «Wo Es war, soll Ich werden» (Там, где было Оно, должно быть Я). Слова Фрейда следует понимать не так, как их обычно понимают (место, где было Оно, должно быть занято Я – Le Moi doit deloger le ?а), а как раз наоборот в противоположном смысле, сходном с тем, какой придает фрагменту Парменида Хайдеггер. Речь не о том, чтобы рациональная прозрачность Я вытеснила изначальную и темную реальность Оно, но о том, что нужно подступить к тому «месту», выйти на свет именно там, в том изначальном локусе, где пребывает Оно как «место бытия», Kern unseres Wesens (ядро нашего существа). Мир обретается (в ходе как психоаналитического, так и философского лечения, понуждающего меня задаваться вопросом, что такое бытие и что есмь я) только тогда, когда я соглашаюсь с тем, что я – не там, где я обычно обретаюсь, что мое место там, где меня, как правило, нет. Нужно отыскать истоки, признать их своими, liegen lassen, стать их сторожем и хранителем (Lacan, p. 417, 518, 563). И совсем не случайно Лакан приписывает фрейдовскому изречению некую досократическую тональность. Он отсылает к Хайдеггеру «Quand je parle d'Heidegger ou plut?t quand je le traduis, je m'efforce ? laisser ? la parole qu'il prof?re sa signification souveraine» (Lacan, p. 528) (Когда я говорю о Хайдеггере и тем более когда я его перевожу, все мои усилия направлены на то, чтобы позволить слову высказать свой суверенный смысл).

6

«Сегодня все еще остается и в целом, и в его самом порой плодоносном метафизическом пласте логоцентризм, который некоторые слишком скоропалительно полагают “превзойденным”».

7

«В качестве условия лингвистической системы само входит составной частью в лингвистическую систему, помещаясь как объект в ее поле».

8

«(Различие) означает здесь, что истоки никуда не делись, что оно и всегда-то было возвращением к не-изначальному, следом, который оказывается, таким образом, началом начал. Если все начинается со следа, то первоначального следа вообще не существует».

9

«Этот другой представляет собой не что иное, как чистый субъект современной стратегии игры, и как таковой он вполне доступен расчету вероятностей, если только реальный субъект, рассчитывая собственную конъюнктуру, не будет принимать во внимание никаких отклонений, называемых субъективными в обычном смысле, то есть психологических, но только лишь вписывать себя в некую поддающуюся исчерпыванию комбинаторику».

10

Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 515.

11

«Вершины воображаемого конуса, в которой все различия, все рассеяния и все разрывы окажутся вновь стянутыми вместе, чтобы образовать нечто иное, как

некую точку идентичности, неосязаемый образ того же самого».

12

См. «Communications», № 4, Presentation; Roland Barthes, Elementi di semiologia, Torino, 1966 (Ролан Барт. Начала семиологии). В том, что семиология изучает только явления культуры, можно усомниться хотя бы потому, что существуют такие ее ответвления, как зоосемиотика, изучающая коммуникативные процессы в животном мире. Однако, по-видимому, также и эти исследования, скажем изучение языка пчел, направлены на выявление систем конвенций, хотя бы и инстинктивного характера, и, стало быть, форм социальной регламентации животного поведения.

13

R. Pierce, La teoria dell'informazione, Milano, 1963; AAW, Filosofia e informazione, «Archivio di Filosofia», Padova, 1967; Ross Ashby, Design for a Brain, London, 1960; W. Slukin, Mente e macchine, Firenze, 1964; AAW, Kybernetik, Frankfurt, a. M., 1966; AAW, La filosofia degli automi, Torino, 1965; A. Goudot-Perrot, Cybemetique et biologie, Paris, 1967.

14

См., например, Giorgio Braga, La rivoluzione tecnologica della comunicazione umana, Milano, 1964, и Comunicazione e societa, Milano, 1961.

15

Особенно в работе «Лингвистика и теория коммуникации». Roman Jakobson, *Saggi di linguistica generale*, Milano, 1966 (и вся книга в целом); см. также: Colin Cherry, *On Human Communication*, N.Y., 1961; George A. Miller, *Language and Communication*, N. Y., 1951; Andre Martinet, *Elementi di linguistica generale*, Bari, 1966 (особенно гл. 6, III); G. C. Lepschy, *La linguistica strutturale*, 1966 (приложение); S. K. Saumjan, *La cybemetique et la langue*, in *Problemes du langage*, Paris, 1966.

16

Два наиболее примечательных примера: A. A. Moles, *Theorie de l'information et perception esthetique*, Paris, 1958 (Авраам Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966); Max Bense, *Aesthetica*, Baden Baden, 1965; общая библиография по теме приведена в главе «Apertura, informazione, comunicazione», Umberto Eco, *Opera aperta*, Milano, 2

edizione, 1967.

17

Об антропологическом понимании термина «культура» см.: Kardiner Preble, *Lo studio dell'uomo*, Milano, 1963; Clyde Kluckhohn, *Mirror for Man*, N. Y., 1944; Tullio Tentori, *Antropologia culturale*, Roma, 1960; Ruth Benedict, *Modelli di cultura*, Milano, 1960; AAW, *La ricerca antropologica*, Torino, 1966; Remo Cantoni, *Il pensiero dei primitivi*, Milano, 2

ed., 1963; Carlo Tullio-Altan, *Antropologia funzionale*, Milano, 1966.

18

Приводимый ниже пример взят из работы Tullio de Mauro, *Modelli semiologici—L'arbitrarietà della semantica*, in «Lingua e stile», I. 1.

19

Warren Weaver, *The Mathematics of Communication*, in «Scientific American», vol. 181, 1949.

20

Подробнее об этом в А.2.1.2.

21

См. библиографию в Lepschy, cit., и у Якобсона (Якобсон Р. *Избранные работы*. М., 1985).

22

См.: Норберт Винер, *Кибернетика*; C.E. Shannon, W. Weaver, *The Mathematical Theory of information*, Urbana, 1949; Colin Cherry, *On Human Communication*, cit.; A. G. Smith, ed., *Communication and Culture* (часть I), N. Y., 1966; а также работы, указанные в прим. 2 и 4.

23

G. T. Guilbaud, *La Cybernetique*, P. U. F., 1954.

24

Впервые закон сформулирован R. V. L. Hartley, *Transmission of Information*, in «Bell System Tech. J.», 1928. См. также, помимо Cherry, *op. cit.*, Anatol Rapaport, *What is Information*}, in «ETC», № 10, 1953.

25

Так, в нашем примере с механизмом исключается и. З. Получаемым сигналам не соответствует какое-нибудь означаемое. (В крайнем случае можно говорить о соответствии лишь для того, кто установил код.)

26

Из обширной библиографии на тему см.: Adam Schaff, *Introduzione alla semantica*, Roma, 1965; Pierre Guiraud, *La semantica*, Milano, 1966; Tullio de Mauro, *Introduzione alla semantica*, Bari, 1965; Stephen Ullmann, *La semantica*, Bologna, 1966; W.V. O. Quine, *Il problema del significato*, Roma, 1966; L. Antal, *Problemi di significato*, Milano, 1967.

27

C. K. Ogden, I.A. Richards, *Il significato del significato*, Milano, 1966.

28

См. всю главу 3, *op. cit.*, р. 90–130. В частности, анализ воззрений Блумфилда (*Language*, N. Y., 1933).

29

Среди авторов, напротив, особенно выделяющих проблему референта, помимо Блумфилда, упомянем исследователей материалистической ориентации (мы не говорим «марксистской», т. к. их позиция определена «Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина), таких как уже цит. Шафф и Л. О. Резников (*L. O. Reznikov, Semiotica e marxismo*, Milano, 1967).

30

По поводу такого использования терминов см., в частности, А. Pasquinelli, *Linguaggio, scienza e filosofia*, Bologna, 2

ed., 1964 (приложение А), где сравниваются и обсуждаются позиции Рассела, Фреге, Карнапа, Куайна, Черча. См. также Ludovico Geymonat, *Saggi di filosofia neorazionalistica*, Torino, 1953. (Исчерпывающая библиография у Шаффа.)

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/umberto-eko/otsutstvuyuschaya-struktura-vvedenie-v-semiologiyu>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)